

ВСЕМИРНЫЕ

ОДЕССКІЯ НОВОСТИ

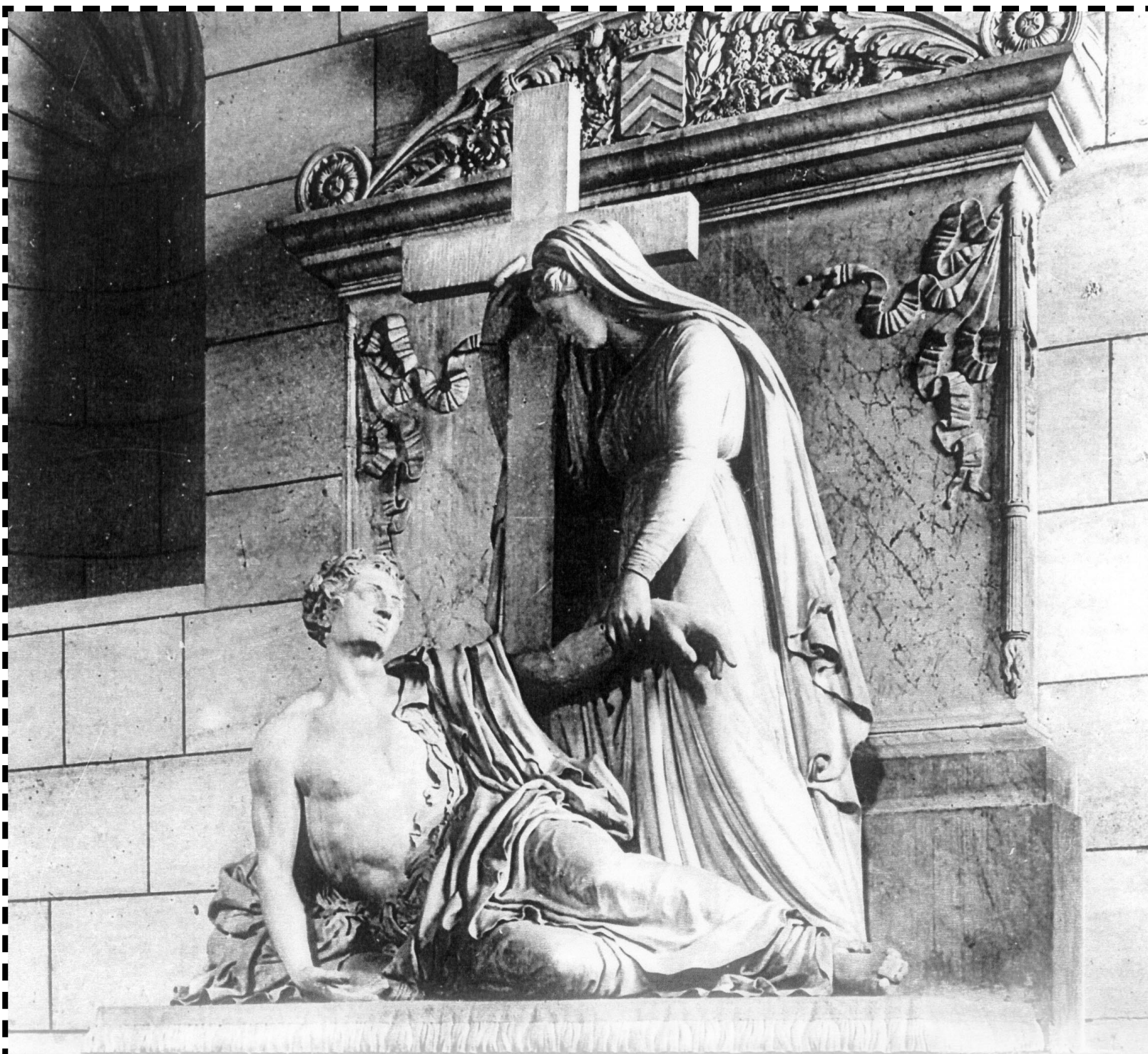
газета политическая, литературная, научная, общественная и коммерческая.

Въ мѣсяцъ "Юніонъ" состоится
КОНЦЕРТЪ Мариі Ивановны Долиной
 Анонсъ. состоится одинъ концертъ
 въ залѣ биржи въ этомъ мѣсяцѣ 6 страницъ

 ГАЗЕТА ВСЕМИРНОГО КЛУБА
 ОДЕССИТОВ

№ 3 (55)

Ноябрь. 2004 год.



ГРОБНИЦА ОДЕССКОГО ДЮКА

Эту просьбу моего друга Сергея Калмыкова, ценителя старины, особенно одесской, я расценил как почетную миссию. А заключалась она в том, чтобы во Франции побывать на могиле Армана-Эммануила де Ришелье.

Вернувшись в Париж, я направился в Сорбонну. Университетскую часовню построил кардинал де Ришелье и завещал себя в ней похоронить. Я посчитал, что именно оттуда и следует начать поиски. Замечу, что во Франции с 1906 года, когда церковь была отделена от государства, большинство парижских храмов являются исключительно культурными сооружениями и свободно посещаются, но к университетской часовне это не относится. Она закрыта и для богослужений, и для посетителей. Но, к счастью, в те дни в часовне была организована университетом выставка современной живописи. Поэтому вдоль нефа висели большие щиты, и за ними в глубине едва виднелся мавзолей кардинала де Ришелье. Но следов Армана-Эммануила никаких. Раздосадованный, я обратился в справочное бюро Сорбонны, где больше привыкли заниматься студенческими проблемами, чем отвечать на вопросы любителей истории. Поэтому сотрудник поспешил от меня отделаться, заявив, что ос-

танки всех Ришелье, кроме кардинала, давно перезахоронены, а больше он ничего не знает. Пришлось позвонить во Французскую Академию, надеясь, что там достаточно чтят память своего основателя, кардинала де Ришелье, чтобы, по крайней мере, сказать, где покоится Арман-Эммануил, его потомок. Мне сказали, что для этого нужно углубленное исследование. То есть ответа, как я понял, можно дожидаться до греческих календ.

Совсем было отчаявшись, я съездил в родовое имение Ришелье близ города Шинон. Но могилы не оказалось и там. Пришлось вернуться в Сорбонну. И на этот раз счастливый случай мне послал зрителя часовни — знатока и любителя истории, который уверил, что прах дюка покоится все-таки здесь, в опечатанном склепе под полом храма. А надгробие находится в приделе, скрытом за выставочными щитами. Мы вместе подошли к прекрасному белораморному памятнику, на котором была единственная надпись: "Дюку де Ришелье, вернувшему Франции ее Рейнскую границу", — милый намек на дружеские чувства царя к дюку, позволившие Франции восстановить свои исконные пределы. Но ни слова о годах, прожитых в Одессе, которую дюк

так любил, что даже хотел в нее вернуться после падения своего правительства в 1821 году.

Мы подошли и к мавзолею кардинала в самом сердце храма, где зритель с улыбкой заметил, что одесситам, возможно, приятно будет узнать, каким образом их дюку, министру Людовика XVIII повезло куда больше, чем кардиналу — министру Людовика XIII, чьи забальзамированные останки во время Революции вышвырнули на улицу. Прекрасно сохранившуюся голову подобрал трикотажник Шеваль, берег в подсобке, пока, наконец не отдал своему хорошему клиенту аббату Арме. Ценная реликвия находилась у родственников Арме до 1866 года, а затем была вручена императору Наполеону III. Состоялась величественная церемония в присутствии парижского архиепископа монсенюра Дарбои, который и вернул голову кардинала в его опустошенную гробницу.

...Прошло всего пять лет, и монсенюр Дарбои был застрелен солдатами в дни Парижской Коммуны.

 Леопольд де СТАБЕНРАТ,
 Париж

Перевод Ирины Беньковской

14
ЛЕТ

исполнилось Всемирному клубу одесситов, четырнадцать лет исполнилось нашей газете "Всемирные Одесские новости".

Все это не юбилей, это вехи, как и четыре года альманаху "Дерибасовская угол Ришельевской", как три года работы при клубе объединения фотохудожников, два года пресс-центра "Третий сектор"...

Я мог бы продолжать этот список, включить в него изданные Клубом книги — от В. Жаботинского до В. Инбер, от Ю. Олеши до Ю. Михайлика, но как забыть о встречах в клубе, о презентациях, о выставках...

И все же — хоть у клуба появились филиалы, собравшись во многих городах мира, как, собственно, и у нашей газеты, удовлетворенным всем, что происходит в клубе, с клубом, быть трудно. Я бы сказал, что при всех наших стараниях клуб еще не стал нравственной доминантой города. А иначе как можно объяснить высоты "Орфея" и дома Навроцкого, окружающих Оперный театр, как можно понять возникновение гостиницы "Одесса", разрушившей панораму Приморского бульвара с моря и панораму со стороны бульвара?

Где был тогда Всемирный клуб одесситов, как реагировал на перестройку центра Одессы? Увы, мы должны честно сказать, что были в стороне от процессов, проходящих в градостроительстве. А после драки размахивать кулаками уже и непристойно.

Пишу об этом потому, что Всемирный клуб одесситов должен как свою боль воспринимать любую боль города. Как свою радость — любую радость Одессы. И только тогда мы действительно будем соответствовать задаче, поставленной перед собой, — объединять одесситов всех стран, доказывать не словом, а делом, что бывших одесситов не бывает.

Четырнадцать лет — срок небольшой. Мы многое сделали и, главное, — осознали, что еще нужно делать.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

От Михаила Обуховского, Лион, Франция —
в Одессу, Леониду Рукману

Дорогой мой!
Внимательно прочел "Новые памятники"...
Поздравляю тебя, книга даст возможность и через много лет
представить новую Одессу в начале 21 века, ибо она остановила
стремительные мгновения нашей жизни и показала, собрав воедино,
приемы времени в каменной и бронзовой летописи.
Ты предложил, по-моему, очень удачно разделы книги, среди ко-
торых меня тронули трагичные истории, которые скупно, но
страстно, а иногда подчеркнуто спокойно рассказывают, как это
было — нам, через 60-70 лет после остановленных на мемориаль-
ных досках событиях.
Проникновенный текст, прекрасные фотографии, хорошее изда-
ние — что еще нужно для успеха этой книги (и CD, реализован-
ному очень профессионально), которую уже ждут одесситы в лю-
бом нашем городе и в рассеянии.
Спасибо еще раз за прекрасный подарок.
Обнимаем вас,

Клодин, Миша

Всемирному клубу одесситов — из Лиона, Франция.

И одесский, и всемирный, — ваш клуб и его сайт сделали одес-
ситов еще ближе, но без давки, без "Не толпитесь, — всем хва-
тит", и без "В одни руки больше одного экземпляра не да-
вать"...

Вслед за очень популярными во Франции Врачами без границ
сайт odessitclub.org породил племя Одесситов без границ, границ
пространственных, временных, общинных.

Хорошо, что границы вкуса и нравственности соблюдаются
лучше, чем Шенгенские...

В 60-х годах Евг. Евтушенко признавался с вызовом — Тра-
ницы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса,
Нью-Йорка... Может быть, и его — в клуб?

В отличие от всех других клубов ваш признает все празд-
ники конца и начала года: и наш Новый год, и Сан-Никола,
и французский Ноль, и православное Рождество...

Пусть безгранично счастливым будет клуб.

С восхищением,

М. О.

Из Берлина
в Одессу.

Евгению Толубовскому,
вице-президенту Всеми-
рного клуба одесситов,
гл. редактору газеты
"Всемирные одесские
новости"

Уважаемый

Евгений Михайлович!

Направляю Вам текст
статьи "Георгий Талов —
классик современной физики".
Думается, публикация
статьи будет хорошим вкла-
дом в "Международный год
Талова".

В программу январских
"Дерибасовских дней" мы
предложили одесситам вклю-
чить организацию проведения
"Дерибасовских чтений" (ру-
ководитель Родион Феденёв,
Докл. ученых), кинофестиваля
"Вселенная Джорджа Талова
и Стивена Спилберга" (про-
грамма предложена "Кино-
архиву Одесса") и др. Все
зависит от деятельности
одесситов, которыми мы ста-
раемся помочь.

Решение об учреждении в
рамках Дерибасовской премии
наименования "Одесские гене-
тические корни" и номинирова-
ния Джорджа Талова и Стив-
ена Спилберга нами направле-
но Стивену Спилбергу и сыну
Дж. Талова — профессору
Игорю-Рустаму Талову (Бо-
длер, шт. Колорадо), а так-
же в ЮНЕСКО, Вашингтон-
ский университет им. Дж.
Вашингтона и Колорадский
университет.

Стивену Спилбергу переданы
более 50 вопросов для его эк-
склюзивного интервью.

Думается, приобщение Стив-
ена Спилберга к Одессе может
принести большую пользу.

Спилберг — это (кроме то-
го, что он Спилберг) Между-
народный фонд Холокоста,
Международный фонд помощи
детям-инвалидам, возмож-
ность помощи в организации
на базе умирающей Одесской
киностудии "Европейского ре-
жиссерского мастер-класса"
(с привлечением известных ки-
норежиссеров) и др.

Опять же — в будущем все
зависит от практической свя-
зи одесситов со Спилбергом.

Спилберг ни разу не был в
Одессе, несколько раз высказы-
вался о желании посетить ро-
дину своих предков.

Нами установлена связь с
пресс-атташе Спилберга, но
Самого в Лос-Анджелесе нет
(Каннский фестиваль, получе-
ние ордена Почетного Легиона
и пр.). Вряд ли он сумеет
приехать на празднование, он
даже по занятости не поехал
на церемонию своего посвяще-
ния в рыцари Британии (она
прошла в посольстве Велико-
британии в Вашингтоне).

Но когда-то его приезд явно
будет. Мы предложили одной
фирме рассмотреть вопрос ор-
ганизации приема Спилберга в
Одессе.

С добрыми пожеланиями,
Александр Манинович
Берлин, 25 сентября
2004г.

Лина Вербицкая
из США
во Всемирный клуб
одесситов

ЮЖНАЯ, 27

Я вернулась к вам,
родные камни,
К вам, где в прошлом веке
жизнь прошла.
Мой балкон, к тебе...
Как часто мама
Вечерами здесь меня ждала.

За дверью звучит пианино,
Милый "ВЕККЕР",
коему сто лет.
Трустно смотрят
окна из гостиной,
Где давно,
где так давно нас нет.

Отзвучали папины романсы,
Мамин чуткий
аккомпанемент.
Сколько добрых встреч
здесь было раньше...
Воск оплыл.
Погас родимый свет.

Не урчит здесь больше
бормашина,
Чей-то зуб спасая на корню.
Дедушка ко мне
волшебным джинном
Не присядет тихо,
как к огню,

Чтоб, не снявши
белого халата,
Мой задачник пододвинуть:
"Ну-с!" —

И решить
те три задачи клятых,
Над которыми
так тщетно бьюсь.

Чтобы растопить потом
голландку,
Папу с мамой
повстречать теплою,
Чтоб, рюмяно хрюстя
баранкой,
Всем нам почаявничать
потом.

Чтобы к пианино
сесть братишке
За этюды Черни,
звучи гамм,
Мамин строгий голос
вслед услышать:
"Ты закончишь
точно по часам!"

Это было...
Это не растает...
Этому по гроб
во мне звучать
Под рюмады
5-го трамвая
И акаций
пряный аромат.

Игорю Лобтоцкому, Людмиле
Самодоевой, девочке Мадине
и собаке Мити в Одессе —
от писателя
Елизаветы Мерк, Париж.

Одесса.

Балкон, подвешенный между
жизнью и жизнью. Стадион, из-
рыгающий нескончаемые попу-
лярные напевы в сторону коло-
ных провалов российского кон-
сульства. Мой пакет "галузы"
цвелеет, подхваченный ветром
независимости. День незави-
симости Украины. Черные птицы,
прилипшие к электрическим
проводам, — утром, на Валиной
даче, — играли в Личкока. Невы-
сказанная жалоба, мятая?

На этом балконе я стою возле
поэта и курю сигаретку. Пере-
рвав. Я исправляю плохой фран-
цузский перевод его прекрасных
поэм о Париже. Сидя между де-
вочкой, которая меня о чем-то
спрашивает, и бесцеремонной со-
бакой, тыкающейся в меня своей
мордой, чтобы я ее приласкал.

Слова взлетают, закручивают-
ся между черным пианино и все-
ми этими книгами, которые я не
смогу прочитать. Я ловлю их.
Ноздрями, ушами и губами.
Иногда собака поднимает голову,
будто ей удалось их расшифро-
вать лучше, чем мне. Извле-
кая слова из языка. Некто извле-
кая из них силу, ускользнуть, другие
вырисовываются, записываются.

"Звезды встали наизусть, дыха-
ние мое прервалось". Воссоздать
ощущающую мною гармонию, му-
зыку русского языка сквозь дву-
язычные ее французские фразы.
Я не знаю улицы Розовых
кустов. И этот поэт дает мне
урок поэзии Парижа, здесь, в
трех тысячах километров от
моей столицы. Книжки насторо-
жились, картины прислушива-
ются, пианино притихло. Я ра-
ботаю: собака уснула.

Вечерами мы прощались по
городу. У статуи герцога Рише-
лье, как бы венчающей пирамид-
ку, — я созерцала лестницу, где
детская клякса тихо пролетела
по ступеням в фильме Эйзен-
штейна.

Встреча. Встреча с городом.
Сначала мы выжили, слегка ка-
саемся кончиками пальцев, ла-
скаешь взглядом. Образы, рокош
нарастают. Эхо, дрожащее в
темноте, брызнет позже, под
давлением авторучки. Затем его
смакуешь, медленно, кожей. От-
крываешь его постепенно, как об-
рывают, любя, лепестки цвет-
ка, прищипывая его, прищипывая.

Одесса: цвета в двухизмерени-
ях. Бледная световая фарада,
изрезанных ветвями огромных
платанов. И жесткое солнце,
черно-голубое море, беспощадный
блеск. Нечто между ясностью и
меланхолией, как на лице стару-
хи, которая осеняет себя крест-
том на скамье. Цыгане цехали.
Силуэты кошек проскальзывают
из форточек полуоткрытых — бе-
лых, серых, черных кошек с тела-

ми между духом и материей, — и
принимали форму камней.

И возле этой удивительной
пары, Игорь-Людмила, которая
ведет нас по цоколю города, где
слова отступают, чтобы нам го-
ворить лучше, мы слушаем дру-
гие молчания, ощущаем темноту.
Я рассказываю пространство,
держа за руку маленькую девоч-
ку; тысячи глаз шепчутся, ты-
сячи мерцающих точек приле-
пляют к цоколю крышам. И я
продвигаюсь по этому городу,
держа за руку ребенка, отбрасыва-
ющего мне путь ночного волшебст-
ва. Лалец на зубах. Вспышка-
ние. Отсутствие времени. Как
пауза. Последние мгновения
ожидания возле поезда, который
вот-вот отойдет.

Часто после путешествия в
памяти искрятся лишь несколь-
ко образов, тех, что, может
быть, и не были бы возник-
нуть, на них — вне силы гравита-
ции — никто и не рассчитывал.
Моменты — диапозитивы, вы-
гравированные почти что про-
тив их собственной воли: взгляд
собаки, ребенка, дымки, зажа-
той между двумя плитками ас-
фальта, мелодии вне всякого
контекста.

В моей голове кружатся не-
сколько последовательностей
молниеносных кадров, как в ре-
зюме фильма. Вырисовывается
вилла Валошина посреди ярма-
рочных балаганов, татарские ре-
стораны, где едят пальмежа, ли-
цо Саши, на неделю заехавшего к
нам в Крым, дом Чехова в Ялте,
сибирские кошки в Туркуфе, рой
черных птиц на огромном плоском
участке под Одессой, а в самой
Одессе — эта замечательная се-
мья, с которой мы встретились,
Итальянский бульвар, российское
консульство, вокзал, исхоженный
вдоль и поперек, Киев, замеченный
вскальз — в мгновение ока, квар-
тира Булгакова. Путешествие
продолжилось в Санкт-Пете-
рбурге. Постигнуть сокровище:
коммуналка Аркадия и Ольги,
жилище Талины и ее дочери Да-
ры, рассказавших мне, что дом-
музей Набокова (в Санкт-Пе-
тербурге) сводится лишь к кол-
лекции бабочек.

И вновь Париж, голова, перепол-
ненная солнцем, дождем, плане-
той Марс, затмившей другие
звезды, Черным морем, русскими
поездами, будто Уилс, вернувшийся
в Итаку после своего прекрас-
ного путешествия, доминирую-
щее впечатление от этой Укра-
ины мерцает в черно-белом, пере-
водная картинка — точная и
размытая одновременно: я на
диване с переносным компьютером
на коленях, малышка Мадина,
задающая вопросы, электронная
игра, собака Митя, спящая во
владении кресла в этой темной
комнате, переполненной книгами,
предвещающими мной, в глубине
— закрытый черный рознь, к ко-
торому я не притронусь.

Вообще-то на Украине я пи-
сала везде, но там, погруженная

в сердцевину не моей
поэзии, я переделывала
иностранный текст, пы-
таясь с ним сбиться.

Эти "Парижские
поэмы" пропитаны бла-
женством, окрашенным ме-
ланхолией, заштрихован-
ных волнений — между дож-
дем и "разноцветными ог-
нями", одой любви "От апо-
линеровских посланий к Лу",
где две дремлют по Парижу
ночью, зажимая "двадцать
пять ароматных свеч" и "за-
жигая в горсти все несчаст-
ствия", с тем чтобы вновь возро-
диться в этом городе на "со-
решней неделе, в которой семь
ночей и семь пауз" возле Нотр-
Дама, который открывает и за-
мыкает эти стихи.

В них — вселенная Парижа,
"разноязыкий этот чей", "где
тепи прахотных окликают звезду
на исходе блудливого дня", всего
лишь смертный мир, в котором
вновь начинается биться сердце;
илена в поисках плоти и тела, в
своем очерде, в поисках имен, вы-
рывающих его из древних страхов
я", из молчания. И поэт снова
становится очарованным
страхником, изголодавшимся на-
ломником абсолюта, вдыхающим
жизнь в инертные камни.

Писатель — созвездия, обра-
щающий свой взор к сокровищам,
не предназначенным для него.
Он открывает шкаф, дрожит в
темных коридорах в поисках
тайной двери, как та — одна-
женная роботом в пирамиде
Леопса, — что ведет к другой
запертой двери, утаивающей
другой подземный ход, погружен-
ный в тысячелетнее молчание.
Он врывается забытые благоуха-
ния, слышит удивительные
шорохи, созерцает картины пу-
стынной подземной галереи.

Все фотографии, которые мы
смотрели: семьи Валошина, Че-
хова, Булгакова, мизер одной ули-
цы в Киеве, альбомы, которые
мне показал Игорь. Лица, оста-
новленные мгновения, присутст-
вие без присутствия.

Существуют люди, к которым
располагаешься (прирастаешь)
фразу, которых признаешь, еще их
не зная, рядом с которыми ис-
пытываешь что-то "radpoie",
даже если не говоришь на их
языке. Моменты, когда каждый
жест легок, каждый взгляд нов и
в то же время тысячу раз пре-
дусловлен. В поэмах Игоря я
повстречала себя.

Цель письма есть побуждение
читателя проникнуть на празд-
ник слов не для того чтобы оше-
ломить, но чтобы поместить его
в изгнание коридора перед зерка-
лом, где он натолкнется на свое
собственное изображение, удив-
ленный, бросающий украдкой
взгляды, прежде чем посмотреть
на себя, услышать себя. Себя
прочтешь.

Elisabeth Merx
Париж, 5.09.03
Перевод Сергея Белликова

Георгий Гамов — классик современной физики

В 1968 г. в последнем интервью на вопрос о научной работе, доставившей ему самое большое удовольствие, ученый ответил: "Пожалуй, биология. Это было нечто совсем новое, и так занятно было разгадывать коды. Может быть, генетический код — самая сильная моя работа".

Эти слова принадлежат одесситу Георгию Гамову — ученому-универсалу, сделавшему несколько важнейших фундаментальных открытий в квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике и космологии. Ученому, впервые в мире решившему задачу расшифровки генетического кода.

Сегодня имя Георгия Гамова, более полувека замалчивавшееся в Советском Союзе, заняло достойное место в истории отечественной науки.

Георгий Антонович Гамов (George Gamov) родился 4 марта 1904 г. в Одессе в семье статского советника, преподавателя русского языка и литературы в одесских гимназиях и реальных училищах.

Антон Михайлович Гамов был потомственным дворянином, его отец был полковником царской армии, командующим Кишиневским военным округом. Семейные предания восходили ко времени Запорожской Сечи, и несправимый шутник Георгий Гамов репродукцию известной картины Репина включил в свою автобиографическую книгу. Упоминание об Антоне Михайловиче Гамове можно встретить в воспоминаниях его именитого ученика — Льва Троцкого.

Мать — Александра Арсеньевна Лебединцева — преподавала историю и географию в одесской женской гимназии. Ее предки принадлежали к южнорусскому духовенству — Арсений Лебединцев был митрополитом, настоятелем одесского Кафедрального собора. Мать умерла, когда Юре (так в детстве звали Георгия) было 9 лет. Заботы о воспитании мальчика легли на плечи отца, который привил ему любовь к литературе, музыке, театральному искусству. Поощряя интерес к естествознанию, отец подарил сыну телескоп и микроскоп. В раннем детстве Юра наблюдает за кометой Галлея, с помощью микроскопа решает проверить церковную догму превращения во время причастия красного вина и хлеба, опущенного в него, в кровь и плоть Спасителя. "Это был эксперимент, который сделал меня ученым", — позднее признавался Гамов. В родительском доме была большая библиотека. "В возрасте семи лет я читал Жюль Верна и... мечтал о путешествии на Луну", — вспоминал Гамов.

Детство, прошедшее на бурные годы Первой мировой войны, революции, гражданской войны и интервенции, юноша провел в Одессе (ныне на доме на улице Херсонской, где проживала семья Гамова, установлена мемориальная доска). В 1913 г. Гамов стал обучаться в одесском Реальном училище.

Один из его товарищей по училищу вспоминал: "Гамов хорошо владел математикой, физикой, тригонометрией. Уже был знаком с высшей математикой. Помню случай — он взял лист бумаги, нарисовал на нем Землю и Луну, привел формулу расчета полета на Луну. Надо преодолеть географическое притяжение, считал он, после чего сопротивления движущемуся кораблю уже не будет, и затем уже будет действовать лунное притяжение. Все это было на большой перемене или во время "окна" в занятиях".

Заметим, что расчет полета на Луну осуществляет гимназист в 10-е годы XX века!

Продолжим воспоминания: "Учитель математики его почти не спрашивал. Лишь иногда: "Ну, что ты, Гамов, скажешь по этому вопросу?". С физикой было так же. В училище преподавали немецкий и французский языки, и среди нас Гамов отличался хорошим знанием иностранных языков". Позднее Га-

мов при заполнении анкеты писал: "Читает и переводит со словарем — древнегреческий, читает и может объясняться — французский, владеет свободно — немецкий, английский, датский".

По окончании Реального училища в 1922 г. Гамов поступает на физмат Новороссийского (ныне — Одесского) университета. В 1923 г. Гамов решает продолжить обучение в Петрограде, где в то время стала активно развиваться физическая наука. Для возможности переезда и продолжения обучения сына в Петроградском университете Антон Михайлович Гамов продает фамильное серебро, а сам студент Гамов начинает подрабатывать, преподавая физику и математику в артшколе и работая метеорологом в Лесном институте. Пройдя университетский курс обучения за три года, Гамов становится аспирантом.

Из мемуаров, относящихся к студенческим годам Гамова, можно узнать о жизни в 30-х годах интеллектуалов новой формации. Вокруг Гамова объединились неформальная группа молодых талантливых студентов и ученых, которые стали себя именовать "джаз-бандой". Они дали себе космополитические клички ("три мушкетера" Гамов, Лев Ландау и Дмитрий Иваненко себя именовали Джонни, Дау и Димус, а Матвея Бронштейна — Аббат), выпускали журнал "Отбросы физики" (пародия на издававшегося позднее журнала "Физики шутят"), устраивали "Парады остроумия". И упорно обживали передний край науки, постоянно знакомясь с зарубежной научной литературой, публикуя в зарубежных изданиях свои научные работы. Девизом "джаз-бандовцев" стало: "Не быть знаменитым — некрасиво!".

И все "три мушкетера" действительно стали знаменитыми.

Уже в студенческие годы талант и работоспособность Гамова были замечены преподавателями, и его направляют на стажировку в центр теоретической физики того времени — Геттингенский университет (Германия). Командирование за границу "социально чуждого элемента", безусловно, свидетельствовало о признании преподавателей, разгадавших творческий потенциал молодого аспиранта.

В июне 1926 г. Гамов ступил на борт парохода, отплывающего в немецкий порт Свинемюнде.

В Геттингене, на юге Саксонии, для 22-летнего Гамова все было необычным.

Весь тихий уютный городок жил университетской жизнью.

Надпись на здании городской ратуши гласила: "Нигде нет жизни лучше, чем в Геттингене".

Среди студентов самого старого университета Европы дети титулованных особ, в том числе и дети российских дворян.

В университете лекции читают пользующиеся всеобщим почтением "короли и кронпринцы науки" Макс Борн, Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Мария Кюри, Норберт Винер, Нильс Бор.

Хозяйки пансионатов гордятся своей благотворительностью, а студенты дана деньги взаимы и зачастую не требуют их возврата. Официанты стараются не стирать с обеды столов насх набросанные формулы и не выбрасывать испианные университетскими гостями салфетки.

Вот уже более двух веков студенты вдохновенно исполняют "Gaudeamus igitur" и, чтобы "пронести" на экзаменах, целуют бронзовую девушку Лизу, стоящую со своими бронзовыми гусями на Ратушной площади.

Гамов приехал в Геттинген в тот идиллический период, о котором ныне много пишут, называя "геттингенским периодом" развития физики. Он принимает активное участие в проходивших тогда горячих научных дискуссиях. В 1920 г. Макс Планк получает Нобелевскую премию за разработку квантовой

теории, в 1922 г. Нобелевской премией удостоивается Нильс Бор за разработку теории строения атомного ядра.

Проблемы квантовой механики и ядерной физики оказываются в центре внимания физиков. Единственным орудием исследования атомных ядер были альфа-частицы, испускаемые некоторыми элементами при распаде. Применяв квантовую механику для объяснения взаимодействия альфа-частиц с ядрами атомов, Гамов выдвигает теорию квантового туннелирования альфа-частиц сквозь барьер, потенциально удерживающий частицы внутри атомных ядер". Выдвинутое Гамовым новое представление о потенциальном барьере атомных ядер ("туннельный эффект") произвело революцию в ядерной физике.

Свои выводы Гамов докладывает на знаменитом теоретическом семинаре Макса Борна. Это сообщение вызвало сенсацию и сделало 24-летнего Гамова видным ученым в области теоретической и ядерной физики. Работы Гамова побуждали патриарха атомной физики Эрнеста Резерфорда приступить к сооружению ускорителя протонов. Гамов принимает личное участие в постановке задачи для экспериментов, а вернувшись в СССР, инициирует сооружение протонного электростатического ускорителя в Ленинградском физико-техническом институте. Открытое Гамовым явление туннелирования сегодня лежит в основе термоядерных реакций, множества процессов в квантовой электронике — полупроводимости, сверхпроводящих контактах в бесчисленных физических явлениях и др.

По окончании четырехмесячного срока пребывания Гамова в Геттингене Нильс Бор содействует получению Гамовым годовой Карсбергской стипендии для работы в Институте теоретической физики Датской академии наук, который в то время был Меккой физиков-теоретиков. Затем Эрнест Резерфорд обеспечивает Гамову получение стипендии Фонда Рокфеллера для работы в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета.

Пребывая за границей, Гамов живо интересуется европейской культурой и историей, совершенствует знание иностранных языков, берет уроки гольфа, открывает счет в банке. На собственном мотоцикле он вместе со своим другом, впоследствии "отцом водородной бомбы" венгром Эдвардом Теллером путешествует по Дании. Общительный и остроумный, любитель дружеских застолий, эрудит и великолепный рассказчик, всегда открытый при обсуждении научных идей, Гамов завоевывает уважение и популярность в среде европейских физиков. Работа в центрах мировой физической науки, возможность творческого общения с видными физиками-теоретиками и исследователями для Гамова были очень плодотворными.

За короткий период времени он публикует 8 серьезных научных статей, издает первую научную монографию "Строение атомного ядра и радиоактивность", вышедшую в 1930 г. в серии "Новейшие течения научной мысли" на немецком, английском и французском языках. Затем эта монография издается в Советском Союзе.

В 1929 г. Гамов возвращается в Советский Союз. Все годы, проведенные за рубежом, Гамов числится аспирантом Ленинградского университета. Гамов выступает с докладом о результатах своей работы за границей, которые были высоко оценены научной общественностью страны. О его научных успехах написала газета "Правда", поэт Демьян Бедный упоминает имя Гамова в своих стихах.

В 1932 г. двадцативосьмилетний Гамов избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР, избирается с рекордным счетом голосования — 42:1. Он становится самым молодым среди ученых, имевших тогда это звание. Гамов и Лев



Ландау (вернувшийся после стажировки у Нильса Бора в Копенгагене) выдвигают идею создания в стране под своим руководством института теоретической физики, но сталкиваются с коллективным противодействием многих ученых, самолюбие которых было задето и научными успехами, и напористостью молодых ученых. Интересно заметить, что ныне такой институт успешно работает и носит имя Л. Ландау.

Во время своей командировки в Москву Гамов знакомится с выпускницей физмата Московского университета Любовью Вохминцевой, которая в конце 1931 г. становится его женой, а в 1935 г. уже в США матерью сына Игоря-Рустама. Друзья Гамова недолюбливали его красивую и эффектную жену, считая ее излишне честолюбивой, а Петр Капица даже утверждал, что "авантюристка" По (так "джаз-бандовцы" звали Любовь Вохминцеву) развивала в Гамове "антисоциальные черты".

В 1929-1931 гг. Гамов работает в Ленинграде доцентом ЛГУ, старшим научным сотрудником Физико-технического института и старшим радиологом Государственного радиового института. В эти годы неоднократные приглашения видными учеными (Энрике Ферми, Мария Кюри, Поль Ланжевен и др.) Гамова для участия и выступлений с докладами на международных конференциях постоянно игнорировались советским правительством. Он не получил разрешение на участие в первом Международном конгрессе по ядерной физике в Риме ("Я получил римское фиаско", — шутил Гамов), доклад Гамова "Квантовая механика ядерных структур" был зачитан его приятелем по Копенгагену физиком Полем Дельбрюком.

В 1933 г. по предложению академика Абрама Иоффе, руководителя советской делегации на Сольвеевском конгрессе в Брюсселе, Гамова включают в состав делегации. Этому способствовало и ходатайство французского физика, почетного члена Академии наук СССР Поля Ланжевена, который был уважаем в Советском Союзе и как ученый, и как член ЦК компартии Франции.

Гамов болезненно переживает политическую обстановку в стране, засилье партийного руководства в науке. Ему запрещают высказывания о некоторых работах зарубежных ученых (в частности, о принципе неопределенности Гейзенберга, "противоречившем диалектическому материализму"). Но Гамов желает работать вне догматов официальной государственной философии диалектического материализма, желает обладать академической и личной свободой, иметь право работать в зарубежных научных центрах и свободно высказывать свои научные суждения. Гамов отмечал, что в СССР "любое отклонение от правильной (по определению) диалектико-материалистической идеологии считается угрозой рабочему классу и сурово преследуется".

Из воспоминаний Гамова известно, что он вместе с женой даже планировал перейти границу на лыжах с Кольского полуострова в Норвегию и осуществил неудачную попытку переплыть на байдарке Черное море из Симеиза в Турцию. Но супругам стать нарушителями границы помешала непогода, на третий день плавания они возвратились. "Я до сих пор верю в то, что мы могли бы сделать это, если бы погода была благоприятной", — говорил Гамов о своей "крымской кампании".

Правительство было очень заинтересовано в участии представителей советской науки в работе Сольвеевского конгресса, проводимого в Брюсселе с 1911 г. с участием ведущих ученых мира.

Гамову разрешают выезд на конгресс, но без жены, и он отказывается ехать в одиночку. Позднее Гамов вспоминал: "Разговаривая с официальными лицами, я вел себя как сумасшедший: "Я не поеду в Брюссель один. Вы, конечно, можете послать меня вплоть до советской границы под конвоем, но конвою не будет разрешено сопровождать меня до Брюсселя и заставить меня занять место в зале конгресса. Пожалуйста, позвоните мне, когда будут готовы оба паспорта". Я оставался в Москве на несколько дней, ожидал ареста. На четвертый день мне сообщили по телефону, что паспорта готовы".

При поддержке Николая Бухарина Гамов был принят главой правительства Вячеславом Молотовым, который разрешил Гамову выехать в Брюссель вместе с женой.

Выйдя из Кремля, Гамов на радость покупает в ГУМе портрет Молотова и ставит его на своем рабочем столе.

По окончании работы конгресса Гамов принимает приглашение Марии Кюри несколько месяцев работать в Радиовом институте (Париж), а затем приглашения Резерфорда в Кавендишскую лабораторию (Кембридж) и Нильса Бора в Копенгагенский институт теоретической физики.

В 1934 г. Гамова для чтения лекций приглашает Мичиганский университет (США).

Во всех странах Гамов регистрируется в советских посольствах, посещая там культурные мероприятия.

И постоянно ходатайствует перед правительством о получении статуса советского ученого с правом работы за границей (таким статусом в то время обладал только Петр Капица).

В предоставлении такого статуса ему отказывают, и в 1938 г. "прислужник мирового империализма Джордж Гэмю" получает известие о своем исключении из состава Академии наук СССР.

Это был первый случай исключения (заметим, что впоследствии Андрей Сахаров был оставлен в Академии наук). Гамов становится первым советским ученым-невозвращенцем, пионером "утечки мозгов".

Александр МАНИОВИЧ

(Окончание в следующем номере)

Евгений ЛАБУНЕЦ

Не больше. Но и не меньше...

От автора

Любое повествование о морской жизни состоит, в принципе, из рассказов о каких-то событиях, а чаще эпизодах, выходящих за рамки монотонной рутинной и тяжелой работы, каковой является мореплавание вообще и современное мореплавание в частности. С другой стороны, специфические условия этой работы, накладываемые далеко не всегда благоприятной окружающей средой (это, в основном, погода), разнообразием посещаемых мест (это и климат, и языковые, национальные и социальные особенности) и достаточно суровые законы и правила для моряков, обусловленные всей этой спецификой, предполагают более частое возникновение ситуаций, которые не описаны никакими правилами и которые для своего разрешения требуют специфических знаний, больше опыта и сноровки для принятия решений, зачастую нестандартных, чем при работе на берегу (я не рассматриваю здесь обладателей экстремальных профессий). И поскольку в этих условиях ограниченной геометрической (сколько там того парохода!) и социальной среды (экипажи сейчас небольшие) у моряков возникает свой особый метод восприятия действительности и специфический образ мышления, то все эти условия и делают рассказы о морской жизни притягательными для многих читателей, не имеющих в обыденной жизни отношения к морю.

Верно и то, что они являются притягательными и для самих моряков, но уже совсем по другим причинам. Это, в первую очередь, интерес к достоверности повествования, так как мысль о том, что среди моряков не бывает писателей, а среди писателей не бывает моряков, высказывалась неоднократно, в частности, уважаемым автором, В.В. Конечским, и она безусловно имеет под собой серьезные основания.

Это в значительной степени профессиональный интерес (а как бы я поступил в подобной ситуации?), зачастую личный (моряков не так уж много, а судов еще меньше), когда в литературных персонажах угадываются черты реальных знакомых, а в книжных ситуациях — реальные события, а чаще всего, к сожалению, повод для веселья и критики незадачливого автора, который берется описывать то, что никогда не видел, а знает со слов рассказчиков-моряков, которые совсем не прочь "навешать лапши на уши береговому писателю", тем более что и редактор порой наведет такого, с позволения сказать, лоска, что любой такой рассказчик "просто отдыхает".

Отлично сознавая все эти трудности жанра, автор, тем не менее, рискует описать несколько эпизодов из морской жизни, однако не от непреодолимой тяги к литературному творчеству или желания прославиться на этом поприще (отнюдь!), а просто потому, что однажды, сидя за столом с друзьями и расслабленно уступая их просьбе, опрометчиво пообещал изложить на бумаге то, что было рассказано, как говорится, "под рюмку", а обещания свои привык выполнять.

Не больше. Но и не меньше...

Эпизод первый

Теплоход "Кола" стоял у причала в порту Ильичевск, заканчивая погрузку хлопка назначением на Сингапур и четыре порта Японии. Старший помощник капитана Кирилл Белов заканчивал инструктировать четвертого помощника Алексея, которого отправлял в портнадзор для оформления отхода судна. Инструктаж несколько затянулся, так как Алексей выходил в этой должности в первый раз после окончания училища, а там, как известно, таким вещам не учат. Несколько раз повторив, куда должен идти Алексей, к кому обращаться и что при этом говорить, старпом закончил инструктаж строгим напутствием:

— И смотри, Алексей, у тебя в портфеле все судовые документы и дипломы всего комсостава, так что если ты что-нибудь потеряешь, то или кто-то из офицеров не выйдет в рейс, или вообще судно, а если посеешь весь портфель, то на судно можешь не возвращаться, да и домой тоже — все равно найдут и оторвут голову. Поэтому за проходную порта не выходить, только туда — и обратно. Будут проблемы — сразу звони на судно. Ну, вперед!

— Алексеич, я мигом, сто процентов!

Отход, которого ждал с нетерпением весь экипаж, намечался на вечер, но, как это обычно бывает, скорее всего, затянется на всю ночь. А отход ждали с нетерпением, потому что погрузке предшествовал полуторамесный ремонт на Ильичевском судоремонтном заводе, что для экипажа всегда неприятно: и зарплата пониженная, и кормежка в заводской столовой (а следовательно, значительно хуже, чем на судне), не говоря уже о том, что валюту не платят, да и работа не совсем привычная для плавсостава.

Для старпома же и стармеха все это усугублялось тем, что сроки ремонта были сжаты, чтобы не упустить хороший рейс. На третий день после постановки судна в завод капитан вызвал их обоих к себе и сказал:

— Значит так, начальники, груз хлопка на Сингапур и Японию я в пароме "выбил", но судно должно быть под погрузкой в порту не позднее пятнадцатого числа следующего месяца, иначе груз заберет кто-нибудь другой, а мы пойдем во Вьетнам, где можем застрять на три-четыре месяца. Так что, все в ваших руках. Вопросы есть?

Вопросов, конечно, не было, и оба "начальника" отправились организовывать "ускоренный" ремонт. А это означало, что обоим им предстояло договариваться с заводом о дополнительных работах, с рабочими о дополнительных и сверхурочных работах, что по тем "героическим" временам (а на дворе стоял 1979 год) делалось, в основном, "через гастроном", и средства на него, естественно, не выделялись, так что предстояло раскошелиться им обоим. Что они и делали, надеясь успеть к сроку и возместить утраты в следующем выгодном во всех отношениях рейсе.

Дело для старпома осложнилось еще и тем, что в эту должность он вступил в первый раз, сразу как судно ошвартовалось у заводской стенки, и опыта такой работы у него просто не было, так что приходилось этот опыт приобретать, что называется, "на ходу". Но ничего, справились. А пришлось и оставаться допоздна на судне, обеспечивая сверхурочные работы, и самому привозить со складов на отцовской "копейке" разные железки (транспорт — проблема на любом заводе), и бегать по палубе с матросами и заводским прорабом, испытывая механизмы и предъявляя их в действии инспектору Регистра, и много еще того, чему не учат ни в одном училище и что не описыва-

ется ни в каких инструкциях или других руководящих документах.

И вот теперь все это позади, и сегодня вечером (читай: ночью) наконец-то отход.

Зазвонил телефон: вахтенный матрос предупредил старпома, что к трапу подходят его родители. Он посмотрел на часы — 14:05 — закурился и забыл, что отец с матерью обещали приехать к двум часам проводить его.

Кирилл встретил родителей у трапа и проводил к себе в каюту. Он предложил им чай с печеньем (кофе они уже давно не пили) и с помощью матери, которая не могла усидеть на месте, когда сын хозяйничает, накрыл стол.

Отец, старый капитан, сначала танкерист, затем известный китобой, закончил свою морскую карьеру после перенесенного в рейсе инфаркта несколько лет назад в должности капитана-директора китобойной флотилии. Затем, проработав еще пару лет на берегу в качестве капитана-наставника, вышел на пенсию и сейчас с высоты своего возраста и опыта наблюдал за карьерой двоих сыновей и одного племянника — моряков. И вот сейчас Кирилл не без гордости рассказывал отцу о прошедшем ремонте, о предстоящем рейсе и по его одобрительным взглядам понимал, что отец доволен тем, как сын продвигается по службе и постигает премудрости современного мореплавания.

Кирилл повел родителей на мостик и показал только что установленный приемник спутниковой навигационной системы "Транзит", что по тем временам было роскошью для среднего сухогруза, каким являлся т/х "Кола". Дело в том, что эту аппаратуру только-только начали устанавливать на "белые" пароходы — "пассажиры", и только их капитану никому не ведомыми путями удалось "пробить" установку этого чуда техники на их судно, что являлось предметом гордости штурманов, которые с удовольствием демонстративно принимали "экскурсантам" со стоящих по соседству судов, вызывая неприкрытую зависть зрителям.

Отец Кирилла тоже с завистью посмотрел на демонстрацию прибора и только и сказал, что, дескать, мы о таком даже мечтать не могли, и что это ваше время пришло.

На мостике Кирилла нашел по телефону капитан.

— Старпом, кто у нас на вахте из штурманов? — он никогда не называл старпома по имени-отчеству — только по должности.

— Третий помощник, Эдвард Владимирович.

— Ты, это, замени его кем-то, а его самого пришли ко мне.

Кирилл начал выяснять, что это такое случилось, что зеленого третьего помощника нужно на отходе подменять на вахте, когда отец, повернувшись к матери сказал:

— Ну что, мать, прощайся с сыном — видишь, он работает.

Прощание много времени не заняло, мать — бывшая морячка. Кирилл проводил родителей до трапа и помазал им рукой с борта. К нему подошел второй помощник Саша, крутившийся на палубе, заканчивая погрузку. На вопрос старпома, что такое случилось, что третьего надо подменить на вахте, он выдал очередную скороговорку (разговаривал второй быстро, "без запятых", порой обрывая слова и даже не договаривая фразы, пытаясь выдать максимум информации за возможно более короткий промежуток времени):

— Да тут подъехал луноход с мигалками — а с него мент с большими звездами и прямо в надстройку — я его остановил — он сказал, что полковник, и что зароем — я сказал, что утоплю, тогда он сказал, что отец третьего помощника и ему к капитану. Капитану я позвонил — он сказал провести — я провел.

— А капитан сказал, чтоб я третьего на вахте кем-нибудь подме-

нил и самого третьего отправил к нему. Так что пока четвертый не пришел из портнадзора, считай себя на вахте — все равно на палубе с грузом разбираешься...

Саша пытался что-то сказать, но старпом знул ему повязку (тогда вахтенный помощник ходил в синей повязке) и отправился в надстройку, успев все-таки услышать, что "если старик мент, то пожалуйста — водку пить, а если нет, то и погрузку заканчивай, и на вахте..."

Не успел Кирилл войти в свою каюту, как опять зазвонил телефон: — Алексеич, тут консоаменты принесли подписывать, — застроил второй, — такой себе персик...

— Ну а я здесь при чем, звони к капитану.

— Так я звонил, трубку никто не берет.

— Ладно, давай пока ко мне, я сейчас выясню.

Кирилл, постучавшись и получив в ответ "да", вошел в салон капитана. За накрытым столом рядом с капитаном сидел тот самый "мент" — полковник милиции — и тут же зеленый третий помощник (первый рейс третьим) Миша, причем все с рюмками в руках.

— Эдвард Владимирович, там принесли консоаменты подписать, у меня пока сидят...

— Старпом, ну ты что, не видишь — у меня люди, и я занят. Придумай что-нибудь сам.

— Так консоаменты же только капитан имеет право подписывать...

— Ты понял, что я сказал?

— Понял, Эдвард Владимирович, — старпом закрыл дверь капитанской каюты и пошел к себе.

Придумать, конечно, не сложно, думал старпом, но это же консоаменты, их только капитан может подписать. А надо сказать, что поскольку всяческих бумаг капитану тогда подписывать приходилось несметное количество, то некоторые капитаны доверяли, опять же, некоторым помощникам подписывать документы за себя, причем, капитанской подписью, если, конечно, эти помощники обладали талантом достоверно подделывать капитанский автограф. При этом ни один из таких капитанов никогда помощника на подпись этого не поручал, так что в случае, если... ну и так далее. Старпом мог воспроизвести капитанский автограф досконально, однако теперь в этом нужно как-то убедить девочку из МорТЭКа, которая принесла эти консоаменты, так как обычно такие документы подписываются в присутствии представителя этой экспедиционной конторы, то есть этой самой девочки.

Старпом вошел к себе в каюту, где второй уже рассказывал симпатичной молоденькой блондинке какую-то морскую бль.

— Здравствуйте, — сказал старпом, — чашку кофе, пепси-колу, сигарету?

— Здравствуйте, — сказал "персик", — спасибо, но у меня консоаменты, просили побыстрее...

— Консоаменты — это можно, — веселым голосом сказал старпом, — только без кофе у нас их не подписывают. Саша?

— Так я же и говорил, — застрекотал второй, подвывая чашками-ложками, — тут у нас без кофе — никаких делов...

— Ну, давайте ваши консоаменты, — старпом взял из банки из-под пива, стоящей на письменном столе, ручку, — будем подписывать?

— Ну да, будем, только вы знаете, нужно, чтобы капитан, — начал "персик" голосом провинившейся восьмиклассницы.

— Правильно, капитан, — как можно одобрительнее посмотрел на нее старпом, — смотри, Саша, — все всё знают. Капитан и подпишет, давайте!

— Но вы же... старпом?

— Старпом, а подпишет капитан, — уверенно сказал старпом, подвывая к себе пачку бланков.

— Но вы же старпом! — в отчаянии воскликнул "персик", видя, что ручка уже приближается к бумаге.

— Ты смотри, Алексеич, — пришел на помощь второй, — такая

симпатичная, а в погонах разбегается, — и, повернувшись к восьмикласснице, строго продолжил. — Вы понимаете, что капитану иногда нужно не рекламировать свое присутствие, вы видели около трапа милицмейскую "волгу"?

— Видела, — прошептала восьмиклассница, переводя взгляд со второго на старпомовскую ручку, которая уже всю бегала по бумаге, воспроизводя капитанский автограф, — но...

— Никаких но, — повысил голос второй и схватил с письменного стола судовую роль, подписанную действительно капитаном, — посмотри, двоенница, здесь подписи капитана, а теперь смотри, какая подпись на консоаментах? Сравнила?

— Сравнила, — ошеломленно пробормотала "двоенница".

— Одинаковые?

— Одинаковые...

— Ну вот, а ты боялась, — снисходительно улыбнулся старпом. — А теперь успокойся и никому — ни слова, а то знаешь, милиция и прочее...

— Нет, я никому, честное слово...

Так "капитаном" были подписаны грузовые документы, никаких проблем с этим не возникло, а когда на следующий день, уже по выходу, старпом доложил обо всем капитану, тот, глядя в биннокль, сказал:

— А что, буфетчица, что ли, должна подписывать консоаменты?

Вопрос был риторический.

А судно в рейс снялось как обычно: не когда планировали, а когда предполагали, то есть, как водится, ночью, в три часа.

Все было, как обычно: сонная комиссия быстро оформила документы (судно ведь в рейс, а не из рейса — таможенная работа 20 минут), портовый лоцман быстро и грамотно вывел судно на канал, пожал капитану руку, пожелал всем счастливого плавания и удачи и сошел на катер.

— На баке, якоря — по-походному, — произнес капитан всеми ожидаемую команду, — вахте — на вахту, остальные — отдыхать.

Старпомовская вахта была, как обычно, с четырех до восьми.

Не больше (если повезет). Но и не меньше.

И календарь пошел считать дни "валютных" суток, то есть тех, которые оплачивались еще и в валюте, составлявшей по тем временам основной доход моряков заграничания.

Был Босфор с его живописными берегами, красот которых штурмана не замечают, так как до предела заняты работой, когда судно идет проливом без лоцмана (а это был как раз тот случай — капитан имел право безлоцманского прохода Босфора, как, впрочем, и других сложных в навигационном отношении районов: Балтийские проливы, Внутреннее Японское море, Восточный Сингапурский рейд). Был и помполит, стоящий у трапа, когда старпом спускался на турекий карантинный катер для оформления документов, и переживающий, не захочет ли старпом остаться на этом катере, чтобы потом попросить где-нибудь политического убежища, что означало бы немедленный и бесповоротный конец карьеры помполита (поднявшись с катера, Кирилл видел, как облегченно вздохнул "политический жожд").

Был Суэцкий канал с его крикливыми, назойливыми арабами, требующими за каждую оказанную и не оказанную услугу какой-либо оплаты и отчаянно торгующимися за каждую сигарету или кусок мыла и норовящими хоть что-нибудь стащить с судна.

Был Красное море с его изнурительной жарой и постоянной дрожью над горизонтом легким маревом.

Был и Сингапур с его невероят-

ным количеством судов как в проливе, так и на многочисленных его якорных стоянках и, конечно, с походами экипажа в город (группами по три человека во главе с офицером) за "товаром", который по приходу в Союз превращался в деньги с помощью комиссионки и других легальных и не очень способов.

И вот замаячила на горизонте таинственная страна утренней зари и сакуры, камикадзе и сумо, "Сони" и "Тойоты", гейш и якудзы и многого другого, манящего и загадочного, присущего только ей. Следующий заход — в Японию.

Эпизод второй

Старпом сидел у себя в каюте в удобном мягком кресле (спасибо югославам — позаботились о комфорте!), с удовольствием дымя послеобеденной сигаретой и обдумывая, что еще надо сделать, чтобы заслуженный послеобеденный отдых не был прерван неожиданным звонком.

Судно было надежно ошвартовано к причалу в Нагое еще в шесть утра, выгрузка налажена, за ней следит 2-й помощник, вахта проинструктирована, капитан сошел на берег с начальником радиции и помполитом на экскурсию по городским автомобильным свалкам за запчастями для своей "тойоты" (это надолго). 4-й помощник Алексей, за вахту и поведение которого отвечал по тогдашним правилам старпом, был отпущен в город с матросом Васей и практикантом Витей, получив строгое указание ни в коем случае не заходить ни в какие бары и кофейни и ни в коем случае не употреблять ничего спиртного.

Дело в том, что вчера вечером матрос Вася получил радиogramму с радостной вестью: Васина жена родила ему сына. По этому случаю Вася был вызван к старпому, который его поздравил, налил положенные в таких случаях 100 грамм и, предупредив Васину просьбу, пообещал отпустить его завтра в город с 4-м помощником. При этом добавил, что скажет четвертому, чтобы не возражал, если Вася захочет в городе взять пару бутылок чего-нибудь "горячительного" — угостить друзей по поводу такого знаменательного события. С Васи же было взято клятвенное обещание не склонять четвертого помощника к употреблению спиртного непосредственно в городе, так как это запрещено этим, этим и еще этим, а в случае если, не дай Бог, то Васе и всем, кто с ним окажется, грозит это, это и, нам понимаешь, это.

Итак, прокрутив в голове все это, а также учитывая то, что старпом с 03.30 утра не присел и даже пропустил завтрак, он решил насладиться двумя, а если удастся, то и тремя часами сна, и через 2 минуты уже лежал в койке, сладко посапывая.

Однако что-то сегодня не сложилось, и, не поспав и 30 минут, старпом уже слушал по телефону срывающийся от волнения голос вахтенного 2-го помощника:

— Алексеич, тут полиция — наших привезла — они все в крови — машина грязная — агент приехал — витрину разбили — спускайтесь к трапу!

Старпом скатился вниз, по дороге натягивая форменную куртку. У трапа стоял агент-японец, вахтенный 2-й помощник и расслабленно улыбающийся 4-й помощник, который тут же начал, как ему наверняка казалось, связно докладывать старпому результаты похода в город. Из его доклада можно было вычленил всего несколько более или менее разборчивых слов, повторенных несколько раз: "Алексеич, все в порядке, сто процентов, вернулись все, сто процентов, нормалеки, сто процентов".

Прервав этот связный доклад и отправив четвертого с помощью двух матросов в каюту спать, старпом спросил у агента, что случилось. Агент с традиционной японской невозмутимостью сказал, что ваши моряки, вероятно, очень устали, и, наверное, из-за этой усталости облокотились на зеркальную витрину бара, а по-

скольку последняя была рассчитана на мелких японских жителей, а не на могучих советских моряков, то она, витрина, рассыпалась, и он, агент, конечно, очень извиняется, но несознательный хозяин бара хочет получить в качестве возмещения ущерба 10 тысяч японских иен, и не мог бы уважаемый старший помощник передать эти 10 тысяч через него, и никаких претензий в этом случае не будет, и сделать это желательно побыстрее, т. к. полиция обещала хозяину бара проследить за положительным решением вопроса о возмещении ущерба, а полицейские ждать долго не могут, потому что в машине сильно и не очень приятно пахнет, и еще раз извините, пожалуйста, что отрываю вас от важных дел.

Проблема сдесятью тысячами иен была решена в течение трех минут — 3-й помощник по звонку старпома взял их из сейфа и вынес к трапу, где они были незамедлительно переданы агенту. На предложение вымыть полицейскую машину силами и средствами экипажа агент ответил, что у полиции есть специальные сильно- и быстродействующие моющие средства и, главное, мощные дезодоранты, и что он, агент, еще раз извиняется и надеется, что ему больше не придется отвлекать уважаемого старпома от важных дел по такому пустяшному поводу. После чего, поклонившись, спустился на причал, сел в свою машину и уехал. За ним, весело мигая синими фонарями, укатила полицейская машина, при этом все окна в ней были открыты.

Старпом проводил их взглядом и повернулся ко второму:

— Ну, а где остальные герои дня?

— Алексеич, с Васей все в порядке, его отвели в каюту и он спит, а вот практикант, — здесь второй замаялся, — он тоже спит — его кореша-практиканты унесли в каюту — правда, он в крови весь, а докторина (так на судне называли женщину — судебного врача) в городе...

— Что?! — похолодел старпом, но, услышав эту новость, понял, что помощи ждать неоткуда, и огляделся вокруг.

У трапа стояли несколько человек, бросившие свою работу и прибывшие поглазеть на ЧП (а таковым это событие и являлось, как успел подумать старпом) и сейчас с интересом смотрящие на старпома (ну, и что же ты будешь делать, чиф?), впрочем, готовые выполнять его распоряжения, если таковые последуют.

Увидев среди них повараху Лору, которая, как он кстати вспомнил, выполняет по тревоге обязанности медсестры, старпом, придав своему голосу соответствующую обстановке твердость, начал отдавать распоряжения:

— Лора, на тебе вездоход, быстро в амбулаторию, включи стерилизатор с инструментами, возьми перекись и салфетки, того и другого побольше, и — вниз, в практикантскую каюту — я сейчас туда спускаюсь. Вперед! — Лора помчалась наверх по трапу.

— Боцман, выделить матроса, пусть постоянно следит, чтобы четвертый и Вася спали только боком или на животе, ни в коем случае на спине, — боцман ушел, взяв с собой матроса и на ходу высказывая свое мнение по поводу того, что, мол, набрали пацанов на флот, вот раньше, помню...

— Двое практикантов со мной, — продолжил старпом, и далее, чуть повысив голос. — Остальные — по рабочим местам, выходной никто не объявлял.

К практикантской каюте он подошел одновременно с поварахой Лорой. Открыв дверь, все вошли в каюту. Практикант Витя лежал на койке, на спине, поверх покрывала, одетый, в туфлях и спал. Со сном у него было все хорошо, значительно хуже дело обстояло с лицом, которое представляло собой что-то сплошное грязно-красное, из которого выступал нос с ободранной кожей и лоскуты надорванной кожи на щеках и на лбу. Увидев эту картину, Лора попятилась к двери, к которой уже прижимались спинами двое

практикантов, стараясь не смотреть на своего товарища.

— Лора, салфетки сюда, лей перекись на салфетки, — старпом начал осторожно вытирать лицо практиканта, пытаясь определить размеры и характер полученных повреждений. Сладко спящий раненый стал проявлять беспокойство, дрыгать ногами и размахивать руками, мешая старпому и рискуя повредить себе лицо еще больше (хотя куда уже больше!).

— Один на ноги, один держит руки, — рявкнул старпом в сторону практикантов, — да смелее, не укусит, держите крепче!

И тут дверь каюты распахнулась, и на сцене появился новый персонаж:

— Кирилл Алексеевич, что там с мальчиками, давайте посмотрим, — слегка запыхавшись, тараторила докторина, подходя к койке и начиная профессиональными жестами ощупывать раны (до флота она несколько лет проработала на "скорой"). — А я иду по городу и вижу, идут наши мальчики, кто-то из них споткнулся, они упали, тут же подъехала полицейская машина и их увезли... Кирилл Алексеевич, инструменты готовы? — Будем шить.

— Мария Викторовна, может, скобки поставим, — шрамы ведь на лице останутся?

— Ну что вы, при таких ранах только швы, никаких скобок.

Лора тем временем принесла стерилизатор с инструментами и коробку со стерильным материалом, которые всегда были наготове. Надев хирургические перчатки и протянув пару таких же старпому, спросила:

— Кирилл Алексеевич, вы мне будете ассистировать? Крови не боитесь?

— Даже если боюсь, — ответил старпом без энтузиазма в голосе, — все равно больше некому. Давайте попробуем.

— Тогда садитесь сюда, я вам буду говорить, что делать. А вы, мальчики (практикантам), держите вашего товарища крепче, он сейчас будет сильно дергаться. — Мария Викторовна, — забеспокоился старпом, — может, тогда новокаином или еще какой-нибудь нарком?

— Что вы, что вы! Пока еще никто не придумал наркоза лучше того, под которым он сейчас находится, — при этом докторина, зацепив зажимом большой лоскут кожи, передала зажим старпому, — оттягивайте послабнее, не бойтесь — он ничего не чувствует, а то, что он дергается — это рефлекторно.

Как раз в этот момент оперируемый практикант дернулся, сумев высвободить одну руку, и заехал ею старпому по лицу, оставив на щеке грязно-красный след (это во сне, не открывая глаз!). Тот взревел:

— Ну, вы, студенты, что, не можете вдвоем одного отрубленного удержать?! Да не воротите физиономии, смотрите, что делаете, а то он еще больше себе морду порвет и вас достанет!

Практиканты-ассистенты повернули лица в сторону раненого и крепче сжали его руки и ноги. Докторина накладывала швы, размахивала зажимами, иглой, отрезала ножницами и скальпелем что-то лишнее, совершенно бесцеремонно оттягивая, натягивая, прижимая и соединяя лоскуты кожи, при этом, казалось, насколько не обращая внимания на то, что все это проводилось на лице живого, хотя и крепко спящего человека.

Вдруг практикант, державший руки, дрожащим голосом обратился к старпому:

— Кирилл Алексеевич, не могли бы вы меня подменить?

Старпом хотел было уже ответить что-то резкое и где-то даже не совсем цензурное, но, глянув на позеленевшее лицо практиканта и его расширенные глаза, рявкнул:

— Три минуты — и назад. Не забудь помыть руки и прополоскать пасть! — при этом одной рукой перерывал руки оперируемого, а другой продолжая удерживать зажим с лоскутом кожи, который докторина как раз пришивала к носу...

Вся операция заняла примерно около часа. Лицо пострадавшего было укутано салфетками и бинтами так, что были видны только глаза и часть рта — для дыхания, — после чего он был переведен в разряд выздоравливающих и оставлен досыпать под наблюдением своих друзей практикантов.

Расследование обстоятельств случившегося, проведенное старпомом в этот же день, и, в основном, на следующий (так как главные действующие лица смогли дать показания только на следующий день) позволило восстановить картину происшествия. Если коротко, то дело было так.

Утром, после завтрака, группа советских моряков (в составе упомянутых троих человек (в точности как предписывали Правила поведения советского моряка за границей) отправилась в город для осмотра местных достопримечательностей и знакомства с образцами древней японской культуры. Других причин для увольнения в город Правил просто не предусматривали.

Участники экскурсии по дороге от судна до проходной порта оживленно обсуждали план проведения экскурсии и, выйдя за проходную, здраво рассудили, что поскольку японская культура является очень древней, то, скорее всего, она подождет еще немного до встречи с любознательными моряками, тогда как магазин с горячительными напитками может и закрыться, а заветная бутылка должна быть приобретена вне зависимости от расписания работы японских магазинов или от правил их антиалкогольной кампании, если, конечно, она у них ведется. Поэтому, подойдя к первому же магазину, торгующему алкоголем, экскурсанты зашли в него и потребовали у улыбающейся и все время кланяющейся пожилой продавщицы, как научили старшие товарищи:

— Бутылку "Оушен виски"! ("Самое дешевое пойло с нормальным градусом, хотя и воняет сильно", — как сказал боцман.)

Продавщица на удивление сразу поняла их японский с русским акцентом язык и подала им большую бутылку, которая была подвернута тщательному изучению на предмет совпадения известных характерных признаков, а именно: 1) Название — "Оушен виски" — есть! 2) Крепость — 78% — есть! 3) Количество — 1250 мл — есть! — Берем, — сказал старший группы 4-й помощник.

— Канает, — сказал матрос Вася. — Заверните, — сказал практикант Витя, и группа вышла из магазина, искренне полагая, что начнет сейчас знакомство с этой загадочной культурой.

Однако очень быстро выяснилось, что нести пакет с большой бутылкой неудобно и, посоветовавшись, участники забега единогласно решили бутылку выпить, а на обратном пути купить такую же, тем более что "и ребятам больше достанется, — мы ж уже пить не будем", — как сказал Вася. Погода была хорошая, уютный и ухоженный скверик — рядом, сигареты для закуски — в кармане — так почему нет?

Несмотря на все благоприятные обстоятельства, после ополовинивания бутылки было решено все-таки зайти "в ихнюю забегаловку, взять ихней закуски и там допить". Что и было сделано. После чего, выходя из "ихней забегаловки", экскурсанты приняли чисто вымытую стеклянную витрину за открытую дверь и вышли через нее, при этом не обратив внимания на разлетающиеся осколки.

Далее очевидцы из группы экскурсантов под предводительством докторины Марии Викторовны рассказали, что они увидели "троих наших", нетвердо ступающих по проезжей части, и так как тротуары в Японии узкие, они шли в ряд, занимая всю его ширину, держа друг друга под руки и легко напевая незатейливый мотивчик, причем каждый напевал свой любимый. И тут кто-то из них споткнулся и все трое полетели носом в асфальт, причем тот, кто шел слева, упал на свободную левую руку, тот, кто шел справа, упал на правую руку,

ну, а практиканту Вите "повезло" — поскольку обе руки у него были заняты, свободной оставалась лишь голова (главным образом, передняя ее часть), которая и приняла на себя весь удар.

И вот тут подъехала полицейская машина, которая, скорее всего, уже давно сопровождала ценителей японской культуры и, погрузив их "в ихний луноход", увезла на судно.

Выйдя на судно, старпом отправился на доклад к капитану. По дороге его остановил практикант Витя с перевязанным и заклеенным пластырем лицом, густо разрисованным к тому же зеленой (та еще картина!):

— Кирилл Алексеевич, я уже вещи собрал, когда уезжать?

— Куда?! — опешил старпом.

— Как куда — домой. Я понимаю, что после всего вы меня на судне держать не будете, да и на училище можно поставить крест, — глухо закончил Витя.

— А ты думаешь, тебя за твои подвиги наградят бесплатным билетом на самолет с длинноногими стюардессами?! Быстро в койку, выздоравливай, и чтоб по судну не шлялся до особого распоряжения.

Капитан с помполитом и начальником радиции были заняты важным делом — ревизией автозапчастей, привезенных вчера со свалки. Спросив разрешения, старпом вошел в заваленный грязными железяками капитанский салон и, обращаясь к капитану, спросил:

— Эдвард Владимирович, что будем делать со вчерашними героями — будем сообщать в пароходство и в училище?

— Какими героями? — спросил капитан, продолжая ковырять шарнир постоянных угловых скоростей (в простонародье именуемый "гранатой"), — не знаю никаких героев, — и, глянув на помполита, спросил. — Володя, ты видел каких-то героев? У нас на судне что, пьянка была?

Помполит Володя озадаченно посмотрел на капитана, потом лицо его просветлело — сообразил!

— Так нет, никакой пьянки не было, я никого не видел!

Капитан удовлетворенно кивнул головой и, обращаясь к старпому, спросил:

— Понял, старпом? Всем троим — до Союза "без берега", кроме Сингапура, а практиканту скажи, что если будет плохо работать оставшуюся часть рейса — сообщим в училище со всеми вытекающими последствиями. Думаю, у тебя на палубе до прихода в Одессу лучшего работника не будет.

Выйдя из капитанской каюты, старпом облегченно вздохнул: никакого рапорта писать не надо и, похоже, все обойдется для экскурсантов "малой кровью". Хотя, тут же подумал он, все равно какая-то сволочь стукнет в партком, но это уже проблемы капитана, а он их решать умеет.

Таким образом, одним вопросом ЧП было переквалифицировано в мелкое нарушение, не требующее вмешательства извне, однако повлекшее за собой чувствительные, но не влияющие на дальнейшее трудоустройство, последствия для участников культпохода.

Не больше. Но и не меньше...

Вот и закончена выгрузка в Японию, затем погрузка там же, в трех портах, стальным прокатом на Союз. И хотя каждый день на стоянках в портах и на переходе между ними был заполнен для старшего помощника до предела, однако это была просто работа, напряженная и интересная, рутинная и изнуряющая, опасная и скучная, приятная (когда хорошо сделана) и мучительная (когда нужно принять серьезное решение, а времени на обдумывание — просто нет), да мало ли как еще можно назвать работу старшего помощника капитана на судне неограниченного района плавания, тем более что рейс для него в этой должности первый, а за спиной "аж" двадцать восемь лет. Потом опять был Сингапур — догрузка каучуком, Малайзия — до-

(Окончание на 6-7 стр.)

Не больше. Но и не меньше...

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

грузка каучуком и латексом и экскурсия в храм змей (все-таки сумел съездить!), и опять Суэц, Порт-Саид и, наконец-то, вот оно, Черное море, хотя на этот раз не приветливое и штормовое (декабрь месяц!), но свое, родное. И до дома осталось — всего ничего...

Эпизод третий

Ну, вот и Союз. На этот раз — Туапсе. Русская речь по УКВ: станнитесь на якорь, причал для вас не готов.

Стали на якорь. Через час к борту подошел катер с комиссией — 14 человек — узнаю тебя, Родина. Пограничники, карантин, карантин растений, агент Трансфлота и, конечно же, таможня, — все требуют к себе внимания, которое может выражаться также в материальной форме (что, конечно же, предпочтительнее).

Два с половиной часа неприятной бедности, фальшивых улыбок, неискренних пожеланий и неприятный осадок в душе по окончании досмотра. Граница открыта, не занятые на вахтах и работах члены экипажа могут съехать на берег с разрешения начальников служб (если, конечно, договориться с рейдовым катером).

На третий день наконец-то освободился причал, и судно было ошвартовано для выгрузки.

После окончания швартовки, "устаканивания" условий стоянки, выгрузки, снабжения бункером, пресной водой, продуктами и решения еще массы всяких малых и больших вопросов старпом зашел в каюту капитана и доложил, что "все сделано, все крутится".

Капитан кивнул, что означало одобрение, и сказал:

— Старпом, ты знаешь, что пароксизм мне не разрешило съездить домой?

А надо сказать, что по тем временам уехать капитану домой из любого советского порта можно было только по персональному разрешению заместителя начальника пароходства по мореплаванию, и при этом учитывались условия стоянки, время года, опыт старпома и Бог его знает, что еще. Так вот, такого разрешения капитан не получил, что, строго говоря, было объективно: декабрь месяц, плохие погоды, да и сам порт Туапсе славится тем, что во время зюйд-остовых штормов на акваторию порта заходит штормовая волна (так называемый "тягун"), и суда начинают бить о причал, при этом можно повредить как судно, так и причал. К тому же — молодой старпом — первый рейс.

— Знаю, Эдвард Владимирович.

— А мне очень надо. Так что, я поехал, а ты остаешься, — он вынул из ящика и протянул старпому печать со своим факсимиле. — На, правь! Машину можешь организовать до вокзала?

— Без проблем.

Через двадцать минут трансфлотовская машина увезла капитана на вокзал. Старпом посмотрел ей вслед и подумал, что как раз сегодня есть шанс сходить в город, так как никаких работ, кроме выгрузки (за которой следит второй помощник) не предполагалось, зато завтра с самого утра начнется бедность, и про город можно будет забыть.

Проинструктиввав вахту и договорившись со вторым помощником, что если он задержится в городе, то позвонит на судно и оставит номер телефона, по которому его можно будет найти "в случае чего", старпом сошел с борта и отправился в город на пару часов "отвлечься от этой железяки".

Выбор развлечения по тем временам в Туапсе был насколько невелик, настолько же и традиционен: ресторан, обед (если повезет, то вкусный), затем уютный уголок с коньяком, кофе, приятной собеседницей, ну и дальше — "как карта ляжет". Для старпома "карта", похоже, начала ложиться, он еще из ресторана позвонил на судно и,

как обещал второму, оставил "дежурный" номер телефона.

А дальше все пошло наперекосяк. Когда коньяк уже начал греть кровь, а обстановка уютного уголка стала располагать к романтическому дуэту, вдруг зазвонил телефон, попросили старпома и слегка захлебывающийся голос второго помощника выдал очередную скороговорку:

— Алексеич, погода засвезжала — пошел тягун — один конец уже убились — лоцман уже идет к нам — выгоняют на рейд — есть трансфлотовская машина — куда ее послать?

Старпом продиктовал адрес уютного уголка, оделся, и, проклиная про себя "всю эту погоду, весь этот Туапсе с его тягунами" и невезучесть второго помощника (все ЧП обязательно на его вахте), спустился вниз. Трансфлотовская "волга" уже ждала у подъезда — расстояния в Туапсе небольшие.

К трапу мрачный Кирилл подвезал одновременно с портовым лоцманом.

— Чиф, давай срочно выходить, а то еще полчасика — и мы выйти уже не сможем, а ты побьешь и причал, и пароход!

— Понял, понял, — отозвался старпом и повернулся ко второму, — как у нас с людьми и готова ли машина?

— Машина готова, стармех на борту, но пол-экипажа в городе, в том числе 3-й помощник. Пока вы ехали, еще один конец убились.

— Палубной команде аврал, вместе третьего на бак пошли четвертого, собери, кого сможешь, попроси у деда пару мотористов, — уходим.

Едва сменив "городской" плащ на штормовую куртку, старпом поднялся на мостик и огляделся. Трюма уже были закрыты (это хорошо — молодец второй!), грузовые стрелы были подняты и закреплены их по-походному уже не было времени (это плохо), два буксира уже болтались под бортом (это хорошо), но бросало их так, что они вполне могли навалиться на судно и в лучшем случае сделать вмятину, не говоря уже о том, что в такую погоду убить буксирный конец — плевое дело (это плохо).

Подбежал лоцман:

— Чиф, буксирам я уже сказал, подавай на них концы. Я тебя на рейд, конечно, не поведу — я там на катер не сойду, да и сам порт Туапсе славится тем, что во время зюйд-остовых штормов на акваторию порта заходит штормовая волна (так называемый "тягун"), и суда начинают бить о причал, при этом можно повредить как судно, так и причал. К тому же — молодой старпом — первый рейс.

— Знаю, Эдвард Владимирович. — А мне очень надо. Так что, я поехал, а ты остаешься, — он вынул из ящика и протянул старпому печать со своим факсимиле. — На, правь! Машину можешь организовать до вокзала?

— Без проблем.

Через двадцать минут трансфлотовская машина увезла капитана на вокзал. Старпом посмотрел ей вслед и подумал, что как раз сегодня есть шанс сходить в город, так как никаких работ, кроме выгрузки (за которой следит второй помощник) не предполагалось, зато завтра с самого утра начнется бедность, и про город можно будет забыть.

Проинструктиввав вахту и договорившись со вторым помощником, что если он задержится в городе, то позвонит на судно и оставит номер телефона, по которому его можно будет найти "в случае чего", старпом сошел с борта и отправился в город на пару часов "отвлечься от этой железяки".

Выбор развлечения по тем временам в Туапсе был насколько невелик, настолько же и традиционен: ресторан, обед (если повезет, то вкусный), затем уютный уголок с коньяком, кофе, приятной собеседницей, ну и дальше — "как карта ляжет". Для старпома "карта", похоже, начала ложиться, он еще из ресторана позвонил на судно и,

как обещал второму, оставил "дежурный" номер телефона.

ника и боцмана, которого отправил на палубу с оставшимися на борту матросами крепить стрелы. А сам начал разбираться с обстановкой на судне.

Выяснилось следующее. 3-й помощник, еще с утра отпущенный капитаном на берег, так и не появился, там же, на берегу ослаблялись два механика, радист, плотник, два матроса, повара Лора со второй поварихой, докторина Мария Викторовна, два моториста и токарь. Помполит, как обычно на стоянке, — в парткоме. Зато кроме оставшегося экипажа на борту оставались четыре женщины — жены членов экипажа и двое маленьких детей, причем жена четвертого помощника была на седьмом месяце беременности.

Получив всю эту информацию и еще не успев ее оценить, старпом заметил, что судно не выходит носом на ветер и волну, как это бывает в большинстве случаев, а остается лагом к волне, и резкая качка заставляет матросов на палубе совершать акробатические кульбиты, продолжая работу по креплению стрел. К тому же, как отметил про себя старпом, угроза подвижки груза в трюмах не только не миновала, а становится все более реальной.

Оглядевшись вокруг, он понял, что направление ветра не совпадает с направлением течения, и именно течение удерживает судно лагом к волне. А это означало, что есть только один выход — сниматься и выходить штормовать в море (как говорили древние — мореплаватели, бойся земли!).

На мостик поднялся боцман и доложил, что стрелы закреплены по-походному и попросил разрешения сходить переодеться в сухое, так как все это время дождь не прекращался, да и бортом время от времени черпали воду, так что все промокши до нитки (или "до кожи"), как в этом случае говорят англичане). Стармех находился тут же, поднявшись на мостик после постановки на якорь, доложить, что, несмотря на сокращенный состав машинной команды, энергетическая установка продолжает функционировать, хотя и в напряженном режиме.

— Так вот, товарищи мореплаватели, — обратился старпом к стоящим на мостике, — как вы сами видите, валяет нас по-взрослому, и нет никакой гарантии, что не станет хуже. Поэтому, дед, давай в машину, боцман с четвертым на бак, и будем сниматься с якоря и выходить штормовать в море. Снимаемся — переоденешся и отдохнешь, — это уже персонально боцману, — сохранишь сухим лишний комплект робы.

Когда начали вить канат, часы показывали 01.40. В 02.20, закрепив якоря по-походному, легли носом на волну и дали средний ход. При таком курсе получалось — на Турцию, зато бортовая качка прекратилась, а началась килевая, что уже приятнее, а главное — безопаснее. Старпом по УКВ доложил диспетчеру об отходе, попросил его отметить, что судно официально отход не оформило, так как выход был аварийный, и времени на формальности не было. Диспетчер ответил, что для Туапсе это не редкость и проблем не будет. Попрошавшись с диспетчером и получив в ответ очередное "Удачи", старпом уже хотел положить трубку, как в динамике раздался веселый голос супервайзера Трансфлота Наташи:

— "Кола", я тут слышала, вы снялись штормовать, а что я буду делать с вашим экипажем? Из ресторана их уже попросили, а ночевать им негде. Они у меня тут сидят, пока еще веселые, но полагаю, что скоро поскукнеют. Прием. — Ну-у, — нажал тангенту старпом, — а какие есть варианты? Прием.

Ну, я могу попробовать договориться с межрейсовой базой, но для этого нужна радиogramма за подписью капитана, что оплата гарантирована, кроме того, я слышала, что у них там все забито, так что я не знаю... Прием.

— Так, Наташа, — обрадовался

старпом, — радиogramма будет через пять минут, а что касается свободных мест, то я на тебя, Наташа, надеюсь, а за нами не заржавеет. Прием. Так, теперь мы еще должны Трансфлоту за организацию ночлега, — отметил старпом.

— Ну хорошо, Кирилл, только для тебя ("Наверное!") — подумал Кирилл. Удачи! До связи.

— И тебе того же, спасительница ты наша. До связи.

Отпустив всех, кроме вахты, отдышаться, старпом отметил на карте точку, на подходе к которой надо ему позвонить (не в Турцию же действительно идти, надо поворачивать!) и повернулся ко второму, который, переодевшись в сухое, уже принял вахту.

— Спокойной вахты, Саша, и пожалуйста, без сюрпризов — ты, моему, все лимиты ЧП на своей вахте в этом рейсе уже давно выбрал. — Алексеич, да все, что от меня зависит... да я разве не понимаю... ну, так получается, ну я не виноват...

Спустившись в каюту, Кирилл, не раздеваясь, прилег на диван и через две минуты провалился в сон.

Разбудил его, как он и предполагал, телефон. Однако звонок был не с мостика. Звонила буфетчица Глафира:

— Алексеич, поваров нету, я тут за старшую, надо людей кормить, а хлеба только-только на завтрак хватит! А дальше что?

— Ну так поставь опару, и к обеду будет свежий хлеб! Учить тебя надо?

— Так я б выпекла, так нету же дрожжей...

Окончательно проснувшись, Кирилл вспомнил, что дрожжи действительно закончились. Дело в том, что закупать продукты за границей разрешалось только чтобы хватило впритык до прихода в Союз, то есть до открытия границы, и никого не волновало, что может испортиться погода, судно выйдет штормовать и т. д., и он сам заказал вчера хлеб, который клятвенно пообещали доставить сегодня до обеда. Но к причалу, а не за сто миль от берега. Напрягшись, он вспомнил, что мама говорила, что можно печь лепешки без дрожжей, на соде, хотя абсолютно не представлял, как это практически делается. Однако Глафире он уверенно сказал:

— Значит, спеки лепешки на соде, маленькая, что ли?

— Алексеич, я никогда так не делала, может, вы спуститесь и покажете?

— Хорошо, спущусь, — буркнул старпом, думая, что же он такое должен показать Глафире, чтобы в результате экипажу на обед был приготовлен какой-никакой хлеб.

Положив трубку, он накинул куртку и поднялся на мостик. Оглядевшись, он отметил, что судно ведет себя весьма прилично. Хотя и сильно зарывается во встречную волну на килевой качке (но на то оно и судно неограниченного района плавания, чтобы плавать в любую погоду), зато почти не было бортовой, и, если продолжать идти так и дальше, то за груз можно не волноваться. А с другой стороны, поворачивать рано или поздно надо, и во время поворота судно на некоторое время станет лагом к волне и его обязательно сильно положит, и вот тогда груз может сместиться и...

Его размышления были прерваны приходом на мостик и моториста, и четвертого механика, который от двери начал плакаться:

— Алексеич, я говорил ей — сиди дома, все равно ж после Туапсе в Одессу пойдем, а она — я соскучилась ужасно, хочу тебя видеть срочно...

— Я понял, понял, только я здесь причем? — недоуменно спросил старпом.

— Так я и говорю, мало того что она сама приперлась, так еще и пацана с собой привезла, а теперь у нее болит голова, у него живот, и они оба укачались, а мне, между прочим, на вахту надо, а не ходить за ними и каюту убирать... Так может, вы пару каких-то таб-

леток дадите, докторина-то на берегу осталась...

— Да, Алексеич, — подключился моторист, — и мой бы что-нибудь от головы и от качки...

Старпом вздохнул, отцепил "вездеход", всегда висевший на ремне на карабине и сказал:

— Ладно, пойдем в амбулаторию, что-нибудь поищем.

Войдя в амбулаторию и открыв рундук с лекарствами, Кирилл стал перебирать разноцветные пакетики и конвалюты, пытаюсь найти знакомые названия. В результате поисков родственникам пациентов были выданы таблетки "пятачки" от головной боли и бесалол "от живота".

— А от качки? — четвертый механик обиженно посмотрел на Кирилла.

— Да вы что, ребята, где вы видели таблетки, которые помогают от качки? Вы что, первый раз на судне?!

— Да я знаю, Алексеич, вы ей любую безвредную таблетку дайте, а я скажу, что это от качки, и она успокоится, а иначе — не отстанет.

— Да-да, — подключился моторист, — и мне безвредную, моя тоже не отстанет.

— Ну, есть вот тут азрон, — протянул старпом. — Считается, что это от качки, но вы же знаете, что он — как рыбе зонтик!

— Пойдет! — единогласно решили пострадавшие мужья и ушли успокаивать своих благоверных, унося каждый по упаковке бесполезного азрона.

Наконец-то старпом смог спуститься на камбуз. Там его ждала буфетчица Глаша, подготовившая муку и соду. Кирилл где-то видел (скорее всего, у мамы на кухне), что в соду заливается уксус, размешивается, а потом во что-то выливается. А вот во что именно, и подводит ли этот рецепт для лепешек, он не имел ни малейшего представления. Тем не менее, потребовав уксус, он загасил им соду, вылил все это в кастрюлю, добавил муки ("сколько возьмет", — как говорила бабушка), посолил и потребовал все это размешать и из этого выпечь на сковороде лепешки, не забыв налить на сковородку растительного масла. Затем Глафире следовало позвонить ему и пригласить для снятия пробы.

По дороге в свою каюту его догнал стармех:

— Штурман (так называл его приятель-стармех, в ответ на что Кирилл стал называть его не иначе как инженером), я тебя ищущу — у нас проблема. Пресной воды и так осталось всего ничего, нам же у причала вчера не дали, а на этой качке насос со дна танка не берет и, в общем, воды в системе нет.

— Вы что, сговорились все мне сюрпризы подкидывать, сколько можно?

— Штурман, ты у нас теперь командир, принимай решение, — с ироничной улыбкой проговорил стармех. — Только знай — что бы ты ни решил, насос все равно воду из танка не возьмет.

— Ну вот, — подумал Кирилл, — теперь еще, ко всему прочему, не побриться, не помыться... При чем тут побриться? А камбуз — готовить обед, кормить экипаж? А жены с детьми поукачивались, азрон кушают — это ж всем вода нужна!

Вызвав в каюту боцмана, Кирилл озвучил ему в муках принятое решение:

— Возьми ребят, кто там у тебя остался, пусть вскрывают горловину мытьевого танка. А сам собирай, сколько найдешь, ведра и банки — будем раздавать воду экипажу. В первую очередь обеспечь камбуз, а женам и детям мужья сами пусть носят.

Боцман, пробормотав что-то неопределенно-нелитературное, отправился обеспечивать экипаж водой. Кириллу почему-то вспомнился кинофильм "Жажда": "Вот черт, тоже мне Поженин!" — одернул он себя.

В течение следующих тридцати минут старпом еще два раза ходил в амбулаторию за таблетками, так

как жена 4-го механика поделилась с подружкой, что "муж достал ей чудесные таблетки, она их приняла и сейчас прекрасно себя чувствует, хотя, конечно, все равно тошнит". Выдав "чудесные" таблетки в очередной раз, он взял несколько упаковок к себе в каюту, чтобы каждый раз не бегать в амбулаторию, тем более что для того чтобы туда попасть, нужно было выходить на открытую палубу, а дождь все продолжался, да и холодный ветер не утихал.

Однако на этом медицинские экзерсисы Кирилла не закончились. После завтрака к нему в каюту прибыл 4-й помощник и, помявшись у двери (что было для него уж очень не характерно), попросил:

— Алексеич, мне бы тоже пару таблеток...

— Тебе?! От чего?

— Да нет, не мне, жене.

— А, это другое дело, — старпом полез в ящик за таблетками, мысленно похвалив себя за предусмотрительность. — Какие: от головы, от живота, от качки?

— Да, понимаете, она у меня беременная, шесть месяцев...

— Я понимаю, ты говорил, так от чего — от головы, от живота, от качки?

— Да нет, понимаете у нее там кровь пошла, может вы посмотрите?

И тут до старпома дошло.

— Что?! Куда я должен посмотреть и что я там должен увидеть?! Ты думаешь, что говоришь?

— Понимаете, — наконец-то покраснел Алексей, — я там тоже ничего не вижу... Может, какую-нибудь таблетку, а?

Далее, как в известном фильме, последовала непереводаемая игра слов с использованием непереводаемых идиоматических конструкций.

Однако после нескольких минут упражнений в риторике Кирилл понял, что что-то делать все равно нужно, и делать это придется ему. Успокоившись и поразмыслив, он предположил, что такого рода "болезни" женщины должны знать "по определению", и в конечном итоге, с помощью жены 4-го механика и медицинских специалистов выдал девятнадцатилетней плачущей девочке таблетки, который ей помогли и, как оказалось позже, после консультации с врачом на берегу, были "выписаны" совершенно правильно. Название этого лекарства Кирилл запомнил на всю жизнь.

Закончив все эти медицинские и санитарно-профилактические мероприятия, старпом наконец-то добрался до мостика. Медицина медициной, а судно все-таки хоть и медленно, но уверенно продвигалось в сторону Турции, и старпом вовсе не был уверен, что, несмотря на уверение туапсинского диспетчера, выход судна без официального оформления в портназдоре, у пограничников и в таможене пройдет для него без последствий.

Прочитав на мостике свежую сводку погоды, Кирилл отметил, что шторм не утихает, но и не усиливается, и в районе Туапсе хуже не стало, а значит, можно было разворачиваться в сторону советского берега.

Оставался неясненным один вопрос: как себя поведет в трюмах частично раскрепленный груз во время поворота на обратный курс, ведь на некоторое время судно станет опять лагом к волне и его должно сильно накренить. Так вот, сместится ли при этом груз? Если нет, то все в порядке и можно сделать еще один такой галс, или столько, сколько еще понадобится до улучшения погоды. А вот если — да, то о последствиях даже не хотелось думать.

Тем не менее, поворачивать все-таки было нужно, и старпом договорился со стармехом, что на время самого поворота он выжмет из машины все, что можно, чтобы поворот был выполнен как можно быстрее для уменьшения количества размахов бортовой качки.

Решение было принято, и от этого стало вроде бы немного легче, однако, когда все были готовы к повороту, Кирилл все-таки какое-то время не решался да-

вать команду на поворот. Но делать нечего...

— Полный вперед, — и минуты через три, когда главный двигатель набрал обещанные стармехом обороты: — Право на борт!

Судно начало катиться вправо. Кирилл вышел на подветренное крыло, чтобы услышать, если в трюме загрохочет сместившийся груз стального проката и труб (спаси и сохрани!).

Судно начало крениться. Первый размах — 10 градусов крена ("ну, это ерунда"). Второй — 20 градусов ("ого, это уже сильно"), третий — 28 градусов ("не дай Бог!"), четвертый — 32 градуса (...), пятый — 26 градусов ("похоже, уменьшается"), шестой — 18 градусов ("пронесло!"). Судно легло на обратный курс.

— Ну вот, — произнес Кирилл, заходя на мостик с крыла и обращаясь к стоящим на мостике и не спускающим глаз с кренометра второму помощнику, начальнику рации и матросу на руле, — а вы боялись. Еще повоюем!

И только спустившись в каюту и прикурив сигарету с третьего раза, Кирилл обратил внимание, как дрожат руки. Ну, что ж, — припомнил он фразу, традиционно объясняющую все перипетии морской жизни, — кто на кого учился!

Еще два раза пришлось поворачивать на обратный курс, ожидая, когда погода улучшится настолько, что можно будет подойти к берегу и безопасно стать на якорную стоянку порта Туапсе.

И когда наконец-то погода смиловалась, разрешение на постановку на якорь было получено, и судно стало на рейд, на связь по УКВ вышел капитан, который уже приехал из Одессы:

— Ну, как, старпом, что на судне?

— Добрый день, Эдвард Владимирович, — ответил старпом, понимая, что капитан не ждет от него сейчас каких-то подробностей — это можно выяснить потом, а сейчас он хочет услышать только одну фразу, и он ее услышал, — на судне все в порядке, ждем вас на борту.

— Добро, я сейчас подойду на лоцботе, прикройте меня — погода для лоцбота еще свежая.

Кирилл подработал машиной и рулем так, чтобы развернуть судно на якорь и принять лоцбот с подветренного борта. Капитан поднялся к себе в каюту, и старпом зашел следом доложить о том, что произошло за эти трое суток.

Доклад занял не более трех минут — "без лирики", печать с капитанским факсимиле была возвращена на место — в ящик капитанского стола.

— Добро, — отреагировал капитан на доклад, — свободен.

Кирилл вышел из каюты капитана несколько обескураженный: он, конечно, не ожидал бурных изъятий восторга по поводу совершенного им "подвига", но простого "спасибо" ему вполне хватило бы. Все-таки он сам, без чьего-то разрешения или совета принимал достаточно серьезные решения в экстремальной обстановке, и, в конце концов, он "прикрыл" капитана от гнева начальства, так как если бы что-то было сделано неправильно, то сразу бы выяснилось, что капитана на борту не было, и уехал он в Одессу нелегально, вопреки запрещению пароходского начальства, и тогда... В общем — мало бы не показалось.

А потом была Одесса, потом отпуск, курсы повышения квалификации, затем опять судно, новые рейсы, новые эпизоды, ну, в общем, работа как работа.

И только через пару лет работы старпомом, когда Кирилл прошел еще через несколько подобных и еще всяких других случаев, он понял, что капитан был тогда прав, никакого подвига старпом не совершил, он просто нормально делал свою работу, для выполнения которой он учился и за выполнение которой он получает положенную зарплату.

Не больше. Но и не меньше...

Татьяна ОРБАТОВА

Смеющийся ангел

Сначала ангел сообщил мне о моем бессмертии. Потом поведал о смертном грехе, который я совершила в пятнадцать лет. Какой именно, не уточнял — перестал говорить со мной. Много лет я была в сомнениях и однажды надела розовые очки, подаренные ангелом в пятый сочельник от моего рождения, и вышла на улицу. Люди были синими, улицы — голубыми, а желто-красные флаги — фиолетовыми. "Странно. Очки-то розовые..." — подумала я и сняла их. Люди были синими, улицы — голубыми, а желто-красные флаги — фиолетовыми.

"Все имеет другой цвет?" — подумала я и снова надела розовые очки. Картина не изменилась.

— Пессимизма в тебе многовато, — произнес у газетного киоска какой-то старик, водружая на свои утиль-морщины противогаз. Его лицо сразу же стало молодым, глаза — размером с неспелое яблоко, а нос — забавно утонченным. Захотелось смеяться.

— Смеешься ты многовато, — буркнул украшенный противогазом продавец мороженого, распечатывая на ксероксе пломбир и раздавая его прохожим вместе с призывом "Голосуйте за

тех, кто в противогазах". Одну порцию он насильно впилил мне в руки. Мороженое было плоским и текло с ладоней цинковыми буквами. Захотелось плакать...

— Плачешь ты многовато, — злобно прошептал агент похоронного бюро, одновременно примеряя противогаз и закатывая в руло гробы, предназначенные для тех, кто еще не умер и пока не собирался. Гробы, похожие на металлическую стружку, мягко стекали по полу, демонстрируя свою холодную элегантность. Захотелось купить боа.

— Боа стоит многовато, — с сомнением глянула на меня заведующая фирменным магазином, и, придерживая коленом сползающий с высокой башни-прически противогаз, принялась выщипывать из боа синие перья, чтобы покупка была мне по карману. Когда осталось всего несколько перьев, заведующая потребовала, чтобы я заплатила за боа полную цену. Увидев в моих молчаливых глазах несогласие, она предложила компромисс — я не плачу за боа, зато беру в подарок противогаз.

Я сняла розовые очки и примерила противогаз. Люди, улицы и флаги приобрели свой обычный

окрас. Все бы хорошо, но вот мой рот... В нем что-то мешало нормальному общению с людьми в противогазах. То ли язык онемел, то ли челюсти свело...

— От чьих-то штампованных слов у тебя полная щека, — услышала я голос. Это был ангел, который подзабыл, как выражать мысли вслух, так как не разговаривал с того момента, как мне исполнилось пятнадцать.

Я сняла противогаз и, набрав в легкие как можно больше воздуха, плюнула. Ангел рассмеялся, а чужие слова разлетелись из моего рта во все стороны, сначала затопив улицы родного города, а затем сотворив настоящее стихийное бедствие по всей стране. Люди бежали в панике по улицам городов, размахивая флагами и срывая друг с друга противогазы. А я все плевалась и плевалась... Голубыми газетными киосками, васильковыми плоскими пломбирами, уютными фиолетовыми гробами, синими ошипанными боа. Последнее, что я выплюнула, были розовые очки... Ангел, содрогаясь от хохота, поднял их с асфальта и примерил. Оглядевшись вокруг, он удивленно воскликнул:

— Надо же! Какую удачную штамповку избрал Главный!..

В 2004 году, в июле, умерла педагог и литератор

Аделаида Ивановна Дубицкая.

Остались ее ученики, ее друзья, остались ее стихи...

Аделаида ДУБИЦКАЯ

Ухожу в стихи,
как снега в ручьи,
как вода в песок —
исчезаю...

Ты меня теперь
лучше не ищи,
я не знаю, где
обитаю...

Только чувствую,
что еще жива,
глубоко-глубинно,
подспудно.

Не найдут меня
там ничьи слова,
никому я там
неподсудна.

В тот особый мир
ты б попасть не смог,
туда можно лишь
просочиться —

Как снега — в ручьи,
как вода — в песок...
но с тобою так —
не случится...

Русский африканец,
стилизованный под иудея,
Черной тушью

бакенбардов
оживает в профиль
на твоих страницах.
Кудрявый танец,
острый кудрявый танец,
Черный танец твоего пера
на твоих рукописях
Мне всю жизнь
то ли видится,
то ли снится.

В ожидании
под цветущей липой
Своим режущим почерком
ты кромсал
страницы белого блокнота.
На свиданье,
опоздав, как полагалось
(навсегда, как оказалось),
Я примчалась,

невразумительно лепетала
оправдательное что-то...
Твои плечи все сердились
и вздымались
над скамейкой
ледяным Казбеком
и Эльбрусом.
Нежный вечер
сдался нам на милость
и утешил
легким примиреньем
каждого по вкусу.

...Русский африканец,
стилизованный под иудея,
в черном котелке,
опершись на парапет,
стоял над Невою...

...Черный танец
огромного зонта,
спасая от дождя,
кружил и вертел
черный котелок
над кудрявой головою.

...Белый танец
узорчатых просветов
чернеющей ограды
вдруг перечеркивался
тончайшей тростью —

Русский африканец,
стилизованный под иудея,
с изящным поклоном
на берегу Невы
встречает гостью...

Старинные одежды,
вычурные шляпы,
длинные плащи,
гармония линий —

Все мои надежды
эти росчерки пера —
черного пера —
бережно сохранили.

...На страницах рукописей
твоего изящного
моего любимого
белого блокнота

На закате дней
с твоего пера
в бакенбардах поэта
застыть
черной жемчужинкой —
вот и вся забота.

Усталые уста
впечатаны в молчание...
Усталые глаза
прощальны и мудры...
Не жги и не боли
во мне, мое отчаянье!
Не вздрагивайте, пальцы!
О, будьте так добры!

Не выдайте, глаза
меня слезой непрошеной...
О голос, не сорвись
до сумрачной тоски!
Будь счастлив,
мой нечаянный,
печалью запорошенный...
О сердце!
Ты зачем
колотись в виски?

Носятся по галактикам
космические скитальцы —
Стружки цивилизаций,
осколки белых миров.
От пустоты и холода
некуда им деваться...
Был и у них когда-то
надежный и светлый кров.
Им подарили планету
с озерами и лесами,
Теплую и туманную —
думай, живи, смотри...
Они же с этой игрушкой
не знали, что делать,

сами —
Вот-вот разберут на части,
чтоб глянуть,
что там, внутри.

Остановить безумье
могли еще попытаться
Гордые астронавты
из звездного далека...

...Носятся по галактикам
космические скитальцы,
Бездомными
став однажды,
печальными — на века...

Публикация Ефима Ярошевского

как жена 4-го механика поделилась с подружкой, что "муж достал ей чудесные таблетки, она их приняла и сейчас прекрасно себя чувствует, хотя, конечно, все равно тошнит". Выдав "чудесные" таблетки в очередной раз, он взял несколько упаковок к себе в каюту, чтобы каждый раз не бегать в амбулаторию, тем более что для того чтобы туда попасть, нужно было выходить на открытую палубу, а дождь все продолжался, да и холодный ветер не утихал.

Однако на этом медицинские экзерсисы Кирилла не закончились. После завтрака к нему в каюту прибыл 4-й помощник и, помявшись у двери (что было для него уж очень не характерно), попросил:

— Алексеич, мне бы тоже пару таблеток...

— Тебе?! От чего?

— Да нет, не мне, жене.

— А, это другое дело, — старпом полез в ящик за таблетками, мысленно похвалив себя за предусмотрительность. — Какие: от головы, от живота, от качки?

— Да, понимаете, она у меня беременная, шесть месяцев...

— Я понимаю, ты говорил, так от чего — от головы, от живота, от качки?

— Да нет, понимаете у нее там кровь пошла, может вы посмотрите?

И тут до старпома дошло.

— Что?! Куда я должен посмотреть и что я там должен увидеть?! Ты думаешь, что говоришь?

— Понимаете, — наконец-то покраснел Алексей, — я там тоже ничего не вижу... Может, какую-нибудь таблетку, а?

Далее, как в известном фильме, последовала непереводаемая игра слов с использованием непереводаемых идиоматических конструкций.

Однако после нескольких минут упражнений в риторике Кирилл понял, что что-то делать все равно нужно, и делать это придется ему. Успокоившись и поразмыслив, он предположил, что такого рода "болезни" женщины должны знать "по определению", и в конечном итоге, с помощью жены 4-го механика и медицинских специалистов выдал девятнадцатилетней плачущей девочке таблетки, который ей помогли и, как оказалось позже, после консультации с врачом на берегу, были "выписаны" совершенно правильно. Название этого лекарства Кирилл запомнил на всю жизнь.

Закончив все эти медицинские и санитарно-профилактические мероприятия, старпом наконец-то добрался до мостика. Медицина медициной, а судно все-таки хоть и медленно, но уверенно продвигалось в сторону Турции, и старпом вовсе не был уверен, что, несмотря на уверение туапсинского диспетчера, выход судна без официального оформления в портназдоре, у пограничников и в таможене пройдет для него без последствий.

Прочитав на мостике свежую сводку погоды, Кирилл отметил, что шторм не утихает, но и не усиливается, и в районе Туапсе хуже не стало, а значит, можно было разворачиваться в сторону советского берега.

Оставался неясненным один вопрос: как себя поведет в трюмах частично раскрепленный груз во время поворота на обратный курс, ведь на некоторое время судно станет опять лагом к волне и его должно сильно накренить. Так вот, сместится ли при этом груз? Если нет, то все в порядке и можно сделать еще один такой галс, или столько, сколько еще понадобится до улучшения погоды. А вот если — да, то о последствиях даже не хотелось думать.

Тем не менее, поворачивать все-таки было нужно, и старпом договорился со стармехом, что на время самого поворота он выжмет из машины все, что можно, чтобы поворот был выполнен как можно быстрее для уменьшения количества размахов бортовой качки.

Решение было принято, и от этого стало вроде бы немного легче, однако, когда все были готовы к повороту, Кирилл все-таки какое-то время не решался да-

вать команду на поворот. Но делать нечего...

— Полный вперед, — и минуты через три, когда главный двигатель набрал обещанные стармехом обороты: — Право на борт!

Судно начало катиться вправо. Кирилл вышел на подветренное крыло, чтобы услышать, если в трюме загрохочет сместившийся груз стального проката и труб (спаси и сохрани!).

Судно начало крениться. Первый размах — 10 градусов крена ("ну, это ерунда"). Второй — 20 градусов ("ого, это уже сильно"), третий — 28 градусов ("не дай Бог!"), четвертый — 32 градуса (...), пятый — 26 градусов ("похоже, уменьшается"), шестой — 18 градусов ("пронесло!"). Судно легло на обратный курс.

— Ну вот, — произнес Кирилл, заходя на мостик с крыла и обращаясь к стоящим на мостике и не спускающим глаз с кренометра второму помощнику, начальнику рации и матросу на руле, — а вы боялись. Еще повоюем!

И только спустившись в каюту и прикурив сигарету с третьего раза, Кирилл обратил внимание, как дрожат руки. Ну, что ж, — припомнил он фразу, традиционно объясняющую все перипетии морской жизни, — кто на кого учился!

Еще два раза пришлось поворачивать на обратный курс, ожидая, когда погода улучшится настолько, что можно будет подойти к берегу и безопасно стать на якорную стоянку порта Туапсе.

И когда наконец-то погода смиловалась, разрешение на постановку на якорь было получено, и судно стало на рейд, на связь по УКВ вышел капитан, который уже приехал из Одессы:

— Ну, как, старпом, что на судне?

— Добрый день, Эдвард Владимирович, — ответил старпом, понимая, что капитан не ждет от него сейчас каких-то подробностей — это можно выяснить потом, а сейчас он хочет услышать только одну фразу, и он ее услышал, — на судне все в порядке, ждем вас на борту.

— Добро, я сейчас подойду на лоцботе, прикройте меня — погода для лоцбота еще свежая.

Кирилл подработал машиной и рулем так, чтобы развернуть судно на якорь и принять лоцбот с подветренного борта. Капитан поднялся к себе в каюту, и старпом зашел следом доложить о том, что произошло за эти трое суток.

Доклад занял не более трех минут — "без лирики", печать с капитанским факсимиле была возвращена на место — в ящик капитанского стола.

— Добро, — отреагировал капитан на доклад, — свободен.

Кирилл вышел из каюты капитана несколько обескураженный: он, конечно, не ожидал бурных изъятий восторга по поводу совершенного им "подвига", но простого "спасибо" ему вполне хватило бы. Все-таки он сам, без чьего-то разрешения или совета принимал достаточно серьезные решения в экстремальной обстановке, и, в конце концов, он "прикрыл" капитана от гнева начальства, так как если бы что-то было сделано неправильно, то сразу бы выяснилось, что капитана на борту не было, и уехал он в Одессу нелегально, вопреки запрещению пароходского начальства, и тогда... В общем — мало бы не показалось.

А потом была Одесса, потом отпуск, курсы повышения квалификации, затем опять судно, новые рейсы, новые эпизоды, ну, в общем, работа как работа.

И только через пару лет работы старпомом, когда Кирилл прошел еще через несколько подобных и еще всяких других случаев, он понял, что капитан был тогда прав, никакого подвига старпом не совершил, он просто нормально делал свою работу, для выполнения которой он учился и за выполнение которой он получает положенную зарплату.

Не больше. Но и не меньше...

Татьяна ОРБАТОВА

Смеющийся ангел

Сначала ангел сообщил мне о моем бессмертии. Потом поведал о смертном грехе, который я совершила в пятнадцать лет. Какой именно, не уточнял — перестал говорить со мной. Много лет я была в сомнениях и однажды надела розовые очки, подаренные ангелом в пятый сочельник от моего рождения, и вышла на улицу. Люди были синими, улицы — голубыми, а желто-красные флаги — фиолетовыми. "Странно. Очки-то розовые..." — подумала я и сняла их. Люди были синими, улицы — голубыми, а желто-красные флаги — фиолетовыми.

"Все имеет другой цвет?" — подумала я и снова надела розовые очки. Картина не изменилась.

— Пессимизма в тебе многовато, — произнес у газетного киоска какой-то старик, водружая на свои утиль-морщины противогаз. Его лицо сразу же стало молодым, глаза — размером с неспелое яблоко, а нос — забавно утонченным. Захотелось смеяться.

— Смеешься ты многовато, — буркнул украшенный противогазом продавец мороженого, распечатывая на ксероксе пломбир и раздавая его прохожим вместе с призывом "Голосуйте за

тех, кто в противогазах". Одну порцию он насильно впилил мне в руки. Мороженое было плоским и текло с ладоней цинковыми буквами. Захотелось плакать...

— Плачешь ты многовато, — злобно прошептал агент похоронного бюро, одновременно примеряя противогаз и закатывая в руло гробы, предназначенные для тех, кто еще не умер и пока не собирался. Гробы, похожие на металлическую стружку, мягко стекали по полу, демонстрируя свою холодную элегантность. Захотелось купить боа.

— Боа стоит многовато, — с сомнением глянула на меня заведующая фирменным магазином, и, придерживая коленом сползающий с высокой башни-прически противогаз, принялась выщипывать из боа синие перья, чтобы покупка была мне по карману. Когда осталось всего несколько перьев, заведующая потребовала, чтобы я заплатила за боа полную цену. Увидев в моих молчаливых глазах несогласие, она предложила компромисс — я не плачу за боа, зато беру в подарок противогаз.

Я сняла розовые очки и примерила противогаз. Люди, улицы и флаги приобрели свой обычный

окрас. Все бы хорошо, но вот мой рот... В нем что-то мешало нормальному общению с людьми в противогазах. То ли язык онемел, то ли челюсти свело...

— От чьих-то штампованных слов у тебя полная щека, — услышала я голос. Это был ангел, который подзабыл, как выражать мысли вслух, так как не разговаривал с того момента, как мне исполнилось пятнадцать.

Я сняла противогаз и, набрав в легкие как можно больше воздуха, плюнула. Ангел рассмеялся, а чужие слова разлетелись из моего рта во все стороны, сначала затопив улицы родного города, а затем сотворив настоящее стихийное бедствие по всей стране. Люди бежали в панике по улицам городов, размахивая флагами и срывая друг с друга противогазы. А я все плевалась и плевалась... Голубыми газетными киосками, васильковыми плоскими пломбирами, уютными фиолетовыми гробами, синими ошипанными боа. Последнее, что я выплюнула, были розовые очки... Ангел, содрогаясь от хохота, поднял их с асфальта и примерил. Оглядевшись вокруг, он удивленно воскликнул:

— Надо же! Какую удачную штамповку избрал Главный!..

В 2004 году, в июле, умерла педагог и литератор

Аделаида Ивановна Дубицкая.

Остались ее ученики, ее друзья, остались ее стихи...

Аделаида ДУБИЦКАЯ

Ухожу в стихи,
как снега в ручьи,
как вода в песок —
исчезаю...

Ты меня теперь
лучше не ищи,
я не знаю, где
обитаю...

Только чувствую,
что еще жива,
глубоко-глубинно,
подспудно.

Не найдут меня
там ничьи слова,
никому я там
неподсудна.

В тот особый мир
ты б попасть не смог,
туда можно лишь
просочиться —

Как снега — в ручьи,
как вода — в песок...
но с тобою так —
не случится...

Русский африканец,
стилизованный под иудея,
Черной тушью

бакенбардов
оживает в профиль
на твоих страницах.
Кудрявый танец,
острый кудрявый танец,
Черный танец твоего пера
на твоих рукописях
Мне всю жизнь
то ли видится,
то ли снится.

В ожидании
под цветущей липой
Своим режущим почерком
ты кромсал
страницы белого блокнота.
На свиданье,
опоздав, как полагалось
(навсегда, как оказалось),
Я примчалась,

невразумительно лепетала
оправдательное что-то...
Твои плечи все сердились
и вздымались
над скамейкой
ледяным Казбеком
и Эльбрусом.
Нежный вечер
сдался нам на милость
и утешил
легким примиреньем
каждого по вкусу.

...Русский африканец,
стилизованный под иудея,
в черном котелке,
опершись на парапет,
стоял над Невою...

...Черный танец
огромного зонта,
спасая от дождя,
кружил и вертел
черный котелок
над кудрявой головою.

...Белый танец
узорчатых просветов
чернеющей ограды
вдруг перечеркивался
тончайшей тростью —

Русский африканец,
стилизованный под иудея,
с изящным поклоном
на берегу Невы
встречает гостью...

Старинные одежды,
вычурные шляпы,
длинные плащи,
гармония линий —

Все мои надежды
эти росчерки пера —
черного пера —
бережно сохранили.

...На страницах рукописей
твоего изящного
моего любимого
белого блокнота

На закате дней
с твоего пера
в бакенбардах поэта
застыть
черной жемчужинкой —
вот и вся забота.

Усталые уста
впечатаны в молчание...
Усталые глаза
прощальны и мудры...
Не жги и не боли
во мне, мое отчаянье!
Не вздрагивайте, пальцы!
О, будьте так добры!

Не выдайте, глаза
меня слезой непрошеной...
О голос, не сорвись
до сумрачной тоски!
Будь счастлив,
мой нечаянный,
печалью запорошенный...
О сердце!
Ты зачем
колотись в виски?

Носятся по галактикам
космические скитальцы —
Стружки цивилизаций,
осколки белых миров.
От пустоты и холода
некуда им деваться...
Был и у них когда-то
надежный и светлый кров.
Им подарили планету
с озерами и лесами,
Теплую и туманную —
думай, живи, смотри...
Они же с этой игрушкой
не знали, что делать,

сами —
Вот-вот разберут на части,
чтоб глянуть,
что там, внутри.

Остановить безумье
могли еще попытаться
Гордые астронавты
из звездного далека...

...Носятся по галактикам
космические скитальцы,
Бездомными
став однажды,
печальными — на века...

Публикация Ефима Ярошевского

Зарисовки с натуры

...Середина шестидесятых. Лето. Фирменный поезд "Красная стрела" сообщением Москва — Ленинград, делающий на своем 640-километровом пути всего лишь одну остановку в Бологом, подходит к перрону станции. Вагон, оборудованный только сиденьями, но вполне комфортабельными креслами, почти пуст. В соседнем — через проход — ряду женщины в летах, выбравшись из-за своих многочисленных единиц багажа, обращаются ко мне:

— Сударь, не откажите в любезности, если только вы не выходите на променаж, присмотреть за моей поклажей? — Я согласно кивнул головой, а она продолжила: — Знаете ли, я много слышала об этой станции на Николаевской железной дороге, но ни разу ее не видела. Все только глубокой ночью доводилось ее проезжать когда-то.

Ее речь хотя и показалась мне старомодной и чуточку занятой, но тон, с каким она обратилась ко мне, был приятным и доверительным. Через несколько минут она вернулась и, застав меня прильнувшим к окну вагона, просто и тепло сказала:

— Ага, и вам тоже интересно?

— Спасибо вам, — ответил я ей искренне, — я тоже как бы отметил на станции нашего временного пребывания: созерцанием вокзала, старушек в ожерельях сушеных грибов, стариков со связками лаптей...

— Что вы, меня это еще больше, чем вас, обрадовало. А то я, грешным делом, думала, что и у вас "живых коней победила стальная конница". Помните? Знаете?

— Как же, как же — Сергей Александрович.

Женщина не стала пробираться на свое место, а присела рядом со мной, развернув небольшой альбом для рисования, и стала делать какие-то наброски карандашом.

— С детства балуюсь рисованием, — с легким, но заметным волнением говорила она. — Сейчас, сударь, сейчас. Я только сделаю наброски. А вы... — она протянула мне свою визитку, а ее карандаш тут же замесил по бумаге, увлекая за собой яркий шнурочек, которым он был привязан к альбому.

Я, чтобы не создавать неловкость, отклонился на мягкие боковые валики кресла в другую от нее сторону. Более часа женщина словно не замечала меня, будучи, видимо, поглощена только одной мыслью: успеть запечатлеть все то, что вот-вот на перроне промелькнуло перед ее взором. Она неотрывно смотрела на альбомные листы, а карандаш, словно сам, то порывисто, то плавно скользил, еле касаясь их. Потом она откинулась на спинку вагонного кресла, и, закрыв глаза, просидела так несколько минут. А открыв их, приладила в специальный жесткий пенальчик карандаш, щелкнув крохотной застежкой альбома. И тут она повернулась ко мне:

— А вас как зовут, сударь?

Я назвал и тут только вспомнил о визитке. Мне повезло, она была обращена ко мне текстом на русском языке: "Госпожа Ольга Александровна Кусевицкая. Художник. Нью-Йорк". Вот, подумалось мне, откуда "сударь" взялся. Я смотрел на визитку и вполголоса повторял: Кусевицкая, Кусевицкий...

— А что вас так удивляет? — спросила она.

— Только то, — ответил я, ничего не подозревая, — что эта фамилия мне хорошо известна и, пожалуй, давно.

— Фамилия как фамилия, русская. Ну, а все же? Откуда?

— Великодушно простите меня, но осмелюсь спросить вас, — в лад и в тон ее манере разговора сказал я, — слышали ли вы что-нибудь о музыканте и дирижере Сергее Кусевицком?

Моя знакомая усталилась на

меня, словно только-только увидела:

— Вы, вы, знаете, что вы только что... да, да, я не верю своим ушам. Случайный попутчик, в вагоне поезда, мчащегося по Николаевской дороге, вот так просто произносит имя... имя... — она, как мне показалось, даже чуть побледнела.

— Вам плохо? — только и нашелся я на такой нелепый вопрос.

— Совсем наоборот, — она нервно и сильно своей левой рукой сжала локоть моей правой. — Вы сейчас произнесли имя... моего... мужа. Нет, это невозможно! Откуда? Почему?

Теперь уже пришлось мне удивляться той совершеннейшей случайности, которая таким невероятным и неожиданным образом произошла.

— Ольга Александровна, — как можно спокойнее произнес я, — все очень просто. Мне это имя известно по одной из старых афиш.

— Что вы такое говорите? Какая еще афиша? Столько лет прошло!

— Да, но афиша эта, может быть, и сейчас висит в квартире моего ленинградского товарища. И, если не ошибаюсь, она за 1914 год.

— Но как так получилось?

— Отец моего товарища, тогда гимназист, гостивший у родственников в Нижнем Новгороде и увлекшийся симфонической музыкой, был на концерте, который давал гастролировавший по городам на Волге Московский симфонический оркестр Сергея Кусевицкого. Охваченный юношеским азартом он, как после рассказывал многим, кто обращал внимание на афишу, в день репетиции проник за кулисы театра. Дирижер в это время был в мастерской художника театра, где они обсуждали макет новой афиши. Юноша-гимназист попросил автограф. А когда дирижер, выслушав его, произнес: "Хорошо! Но только на чем?" — юный любитель симфонической музыки растерянно развел руками. Выручил художник: "А вот хотя бы на ней, Сергей Александрович". Он взял из стопки одну из афиш и протянул дирижеру кисть, которую только макнул в красную гуашь. Вот эту афишу с автографом музыканта и привез гимназист домой, приколов ее к обратной стороне стекла кухонной двери, что вела на черную лестницу. А чтобы она подольше сохранилась, приколотил к двери фанеру. Вот с тех пор она и украшает, теперь, конечно же, коммунальную кухню. А отец товарища погиб в 1942 на Калининском фронте где-то в этих местах.

Ольга Александровна смотрела на мелькавший за окном березовый перелесок — молча и долго, а в это время смутное и пока неясное чувство подсказывало мне, что только одним простодушным и бесхитростным моим рассказом наша встреча не может завершиться. И еще вполне не осознавая, как оно там сложится дальше, я нарушил молчание:

— А когда и где мы сможем завтра встретиться? Хоть на минутку всего!

— В "Европейской". Ровно в одиннадцать, — как мне показалось, почти отстраненно ответила она. — В тринадцать наша группа уже улетает в Стокгольм...

...Первое, что услышал мой товарищ, открыв мне дверь, было: "Ремонт не начинали?". Он удивленно посмотрел на меня и коротко ответил: "И не собираемся".

Только тогда я поздоровался со всеми и тут же поведаль семье товарища о своей случайной попутчице и знакомой. Все согласились с моим предложением подарить афишу Ольге Александровне.

С большой осторожностью мы отковырнули фанеру, сняли афишу, и все дружно тоже поставили фломастером на ней свои автографы. А когда на следующий

день мы встретились в холле "Европейской", Ольга Александровна не стала разворачивать при мне афишу, а только, отогнув уголок, сказала:

— Нет. Сама. Потом, — она достала из большой яркой сумки конверт-пакет и протянула его мне: — А это вам и вашему товарищу на память. Тут, правда, только некоторые из тех, с кем в своей жизни я имела счастье встречаться и общаться, а с некоторыми даже дружить. И среди них, конечно же, есть и наши с вами великие соотечественники. Возьмите.

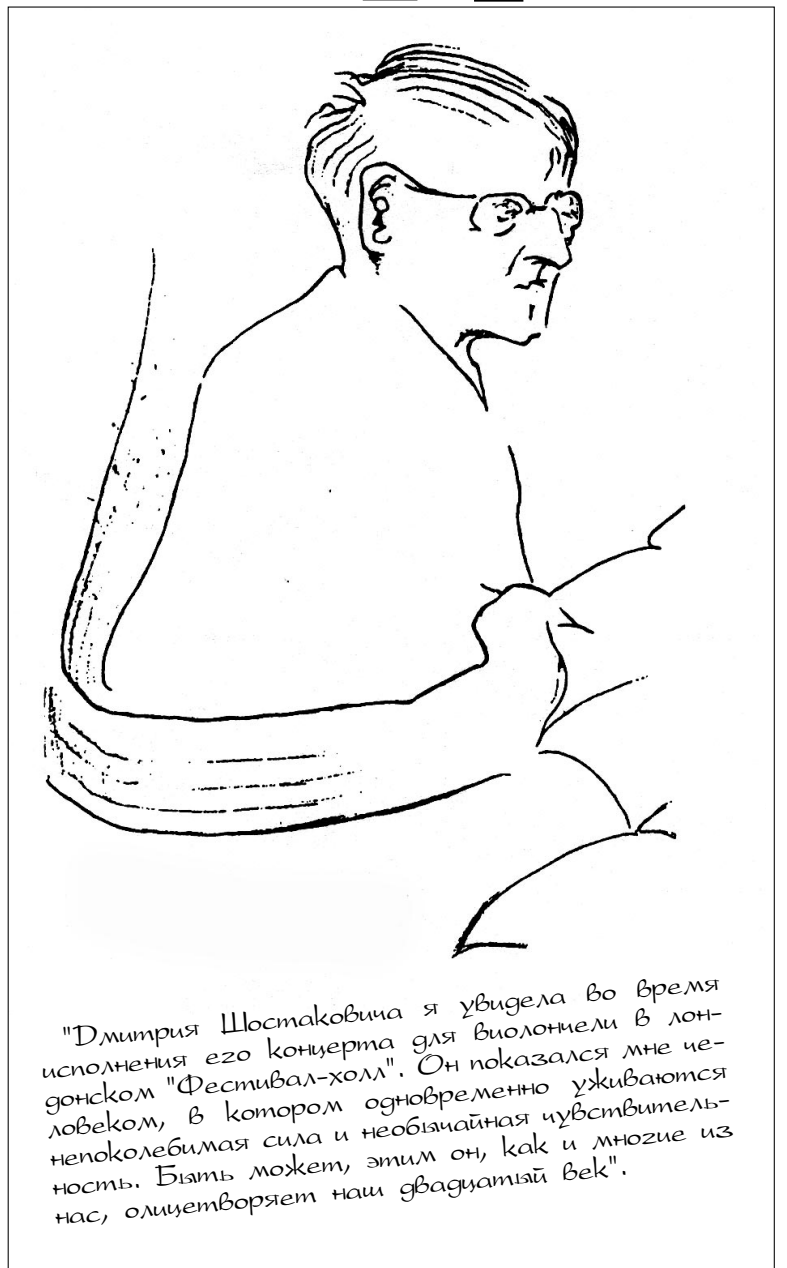
Она осторожно опустила афишу в сумку, откуда только извлекла врученный мне пакет, и, смущенно улыбаясь, на прощанье сказала:

— Будем считать, сударь-товарищ Василий, наш бартер не просто состоявшимся и счастливым, но и не менее удачным... Да, — вдруг спохватилась она и снова заглянула в сумочку, — вот растеряха, чуть не забыла. Тут несколько слов о каждом из тех, кого я попыталась в разные годы изобразить, — протянула она мне исписанный листик. — И спасибо, спасибо, спасибо!

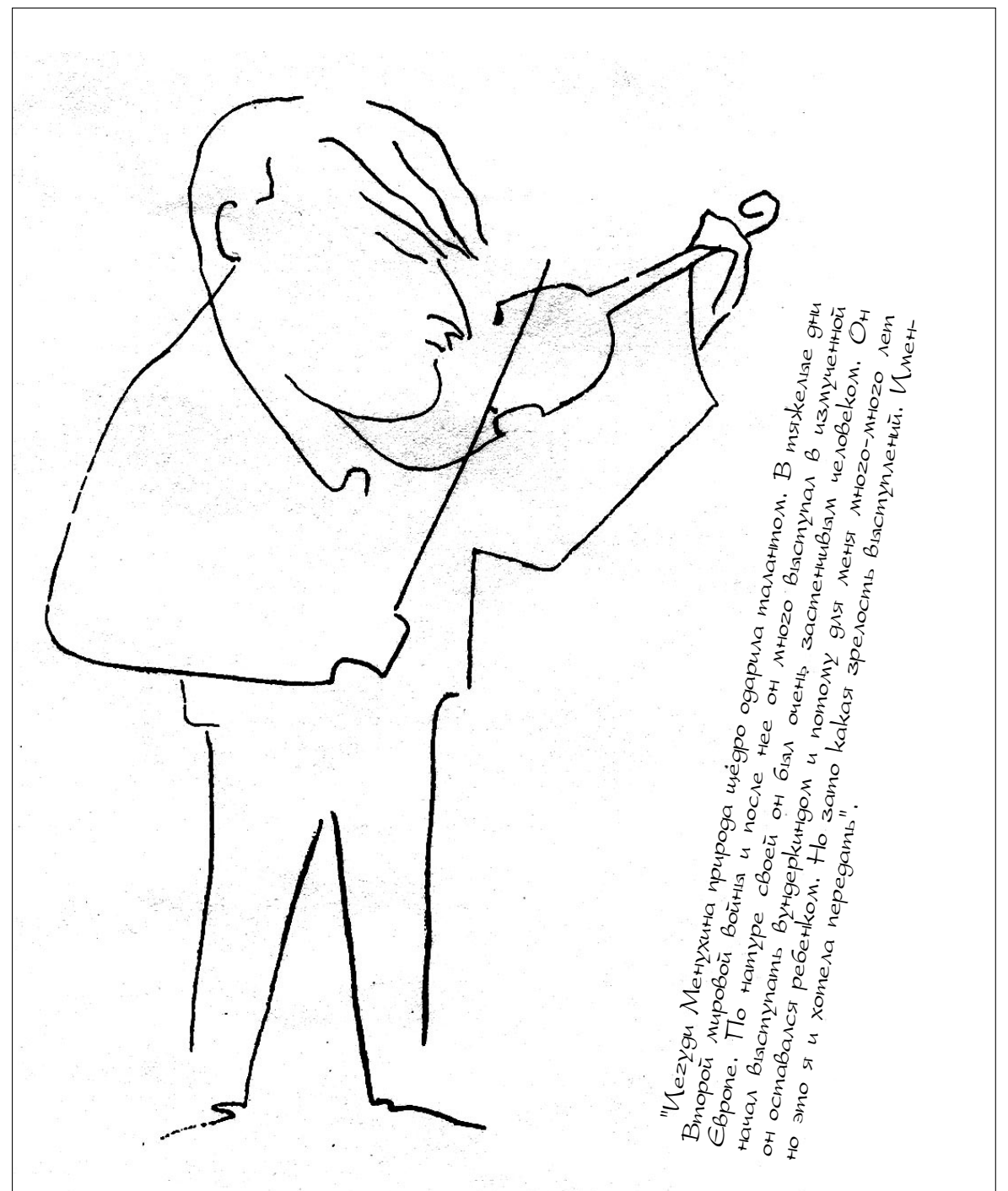
На том и расстались.

Но расстались ли? Так подумалось мне, когда я, вернувшись после встречи во дворе, что на углу Балковской и Дальницкой, к себе в квартиру, что в доме, тоже на углу академиков Вильямса и Королева, рассматривал шаржи, выполненные рукой Ольги Александровны Кусевицкой. Прислал мне их товарищ уже в спасительную эпоху экспансии ксерокса, но теперь уже не из Ленинграда, а из Санкт-Петербурга. И разве то, о чем я сейчас рассказывал, не счастливое продолжение встречи, но уже и с читателем?

Василий ВЫХРИСТЕНКО

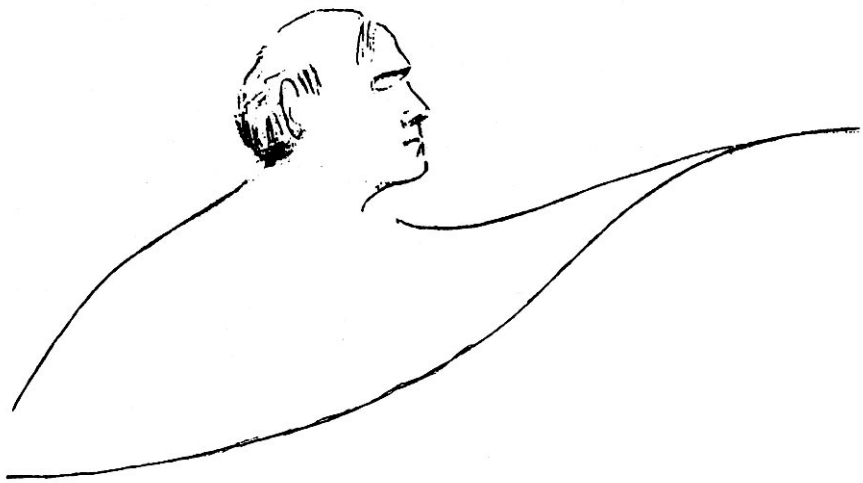


"Дмитрия Шостаковича я увидела во время исполнения его концерта для виолончели в лондонском "Фестивал-холл". Он показался мне человеком, в котором одновременно уживаются непоколебимая сила и необычайная чувствительность. Быть может, этим он, как и многие из нас, олицетворяет наш двадцатый век".

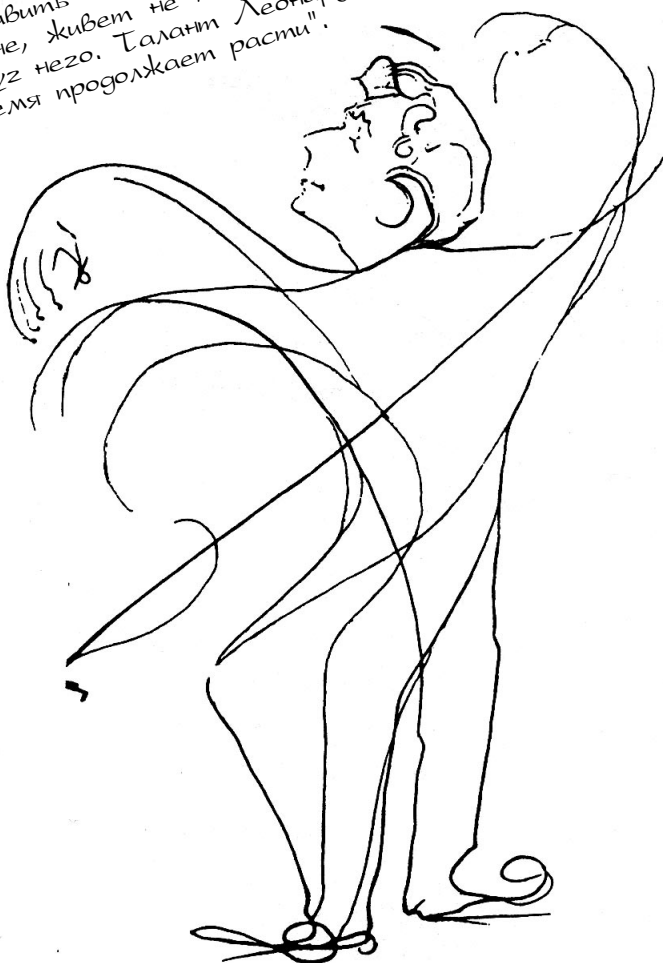


"Между Мечухина природа щедро одарила талантом. В тяжёлые дни Второй мировой войны и после нее он много выступал в измученной Европе. По натуре своей он был очень застенчивым человеком. Он начал выступать вундеркиндом и потому для меня много-много лет это я и хотела передать".

"Святослав Рихтер, блестящий пианист, впервые приехал в Соединенные Штаты в 1960 году. Как и все мои друзья и знакомые, я много слышала об этом исключительном музыканте. Концерты его были блестящи. Всегда казалось, что волна музыки подхватывает вас и несет в мир превысшие техники, превысшие интерпретации, превысшие все".



"Леонард Бернштейн — одаренный пианист и композитор. Сейчас он дирижер Нью-Йоркского симфонического оркестра. Об этом виадано, что трудно добавить что-нибудь новое. Музыка, кажется мне, живет не только в нем самом, но и вокруг него. Талант Леонарда Бернштейна все время продолжает расти".



"Игорь Стравинский всегда полон юношеского задора на эстраде. Он не лишен и некоторой эксцентричности. Раз после дневного концерта я осведомилась о его полудня сидит в аэропорту: муж боялся, что иначе она опоздает на семичасовой самолет".



"Артур Рубинштейн пользуется неизменной любовью американской публики. Он одинаково экспансивен и в жизни, и за роялем. Кажется, что он еще до начала концерта мысленно уже сидит за роялем, беззаветно к клавишам, подготавливая себя внутренне к выступлению".



"Руджерио Риччи, уроженец Сан-Франциско — талантливый скрипач. Я часто поражаюсь, как этот невысокий человек способен издать с такой невероятной силой! Да и на сцене стоит он как-то особенно: твердо и крепко, словно прирос к земле. Может быть, потому в нем так много земного".



"Джорджа Силла я впервые увидела за дирижерским пультом Кливлендского симфонического оркестра, который он тогда руководил. Неизменно стремящийся к совершенству, он от музыкального коллектива в сто человек добился чистоты звучания камерного оркестра. Характер у него сложный. Рисовать его было нелегко. До сих пор так и не могу понять, чем он захватил мое воображение".



Анна ФАЙН

Третьяковская балдарея

Разбитый автобус еле дотянул до остановки — главного входа в университет. Сегодня на воротах знакомый охранник, старый Ханан. Я отмечаю про себя, какие коричневые у него веки. Ну как же, он при исполнении, ему нельзя. Ханан впускает меня, не проверив сумки. Ему слишком хорошо знакомо ее содержание: ключи, кошелек и удостоверение личности. А во внутреннем кармане, среди дамских мелочей, маленькая пластмассовая коробочка с тремя таблетками — моя суточная доза.

Я шагаю к институту, стараясь дышать ртом. Так воняет меньше. После того, как две арабки-уборщицы попытались взорвать здание Сената, некому вывозить грязь с территории университета. Наш институт был основан американцами на американские деньги, и работают здесь в основном американцы. Они сочиняют новые учебные программы, а я перевожу их на русский язык. Начальница Джудит поднимается навстречу из-за компьютера. Над ее столом лозунг: "Мы не можем изменить действительность, только себя". "Тами не придет, — говорит Джудит, — тебе придется самой написать письмо миссис Горовиц". "А что с Тами?" — "Взорвалась в автобусе по пути на работу", — будничным голосом сообщает она.

Секретарша Тами, Томочка, маленькая, худая йеменка с острыми бедрами и впалым животом. Она так мечтала поправиться, верила, что похорошеет, заведет себе парня и выйдет замуж. Я торопливо расстегиваю сумку и достаю таблетку — первую за сегодняшний день. Сладковатое тепло разливается в груди, поднимается к голове. Тами забыта. Я сажусь к компьютеру. "Дорогая миссис Горовиц, — пишу я, — как Вам хорошо известно, мы выполнили наши обязательства, оговоренные в соглашении. Мы создали учебную программу "Прогулки по Святой Земле в трехмерном пространстве". О нет, мы не предлагаем вам бродить по нынешнему Израилю, до неузнаваемости искореженному каскадными терактами. Наши клиенты получат уникальную возможность вернуться в 1988 год. Они увидят, какой была страна до рокового дня, когда рейсовый автобус, полный пассажиров, отправился в последний путь по Иудейским горам...". Все спонсоры давно нас бросили, и только миссис Горовиц, ортодоксальная еврейка из Чикаго, все еще подкидывает деньги, да и то крайне нерегулярно.

За окном, где-то в районе студенческих общежитий, гремит взрыв. Не будь таблетки, этот звук остановил бы мне сердце. Но под релаксаном я лишь отмечаю его краем сознания. Он неясен, как пук весенней почки. Письмо готово. Скоро должен подойти директор Джереми, проверить и подписать его. "Джереми позвонил, — сообщает Джудит, — он задерживается. На дорогах сплошные пробки из-за утренних терактов". Что же, я его подожду, а пока зайду в сайт наших конкурентов. Это одна из моих служебных обязанностей — проверять, что там у них новенького.

Нажимаю на желтый квадратик в

левом нижнем углу дисплея и оказываюсь в Иудейских горах. Нет, это не Иудея, конечно. Настоящая Иудея суше и строже, а это Италия или южный Крым. Впрочем, кто его знает: я давно не бывала в той части страны, с тех пор, как арабы взорвали тоннель на объездной дороге возле Бейт-Лехема. Гремит второй взрыв. На этот раз становится темно и вырубается компьютер. "У-упс!" — кричит Джудит. Когда моя начальница под релаксаном, ее вокабуляр сжимается. Тогда ее память удерживает всего два слова: "упс" для выражения гнева и отчаяния и "уау" — для радости и восторга. Делать нечего. Пойду поем, я сегодня еще не завтракала, а скоро обед.

В дешевой народной обжорке напротив универа сидит Сашка Гитерман. Я издали вижу его большую синю-белую кипу. Когда-то она держалась на металлической заклепке, похожей на канцелярскую скрепку. Но вот и осень наступила, высохли цветы, а сашкины волосы облетели, кипа скользит по лысине и время от времени падает в тарелку. Я беру себе порцию шуармы. Гриль успел остыть, но мясо еще теплое. "Маша, иди сюда", — зовет он. Сашка — мой бывший одноклассник. Его считали вундеркиндом в детском саду, школу он окончил с золотой медалью, попал на международную олимпиаду и был без экзаменов зачислен на биофак МГУ. Он оказался тем единственным евреем. Он и сейчас один-единственный в своей лаборатории. Сашкиных коллег уволили из-за недостатка бюджетных средств, а лишие обезьяны, знаете ли, в Америку со всех ног наутек — как всегда. Сашкины опыты национального значения финансирует правительство. "Что подделываешь, Сашенька?" — спрашиваю я. "Если хочешь, расскажу, — улыбается он, — только сначала совершу небольшой экскурс в историю, ты же ничего не помнишь". "Ну давай, совершеншай. Все равно электричество не скоро врубят".

— До тысячи девятьсот восемьдесят восьмого года израильтяне гибли на полях сражений, — начал Сашка, — но мирное население почти не страдало. Так продолжалось до того рокового дня, когда рейсовый автобус, полный пассажиров, отправился в последний путь по Иудейским горам. Слева — встречный поток машин, справа — глубокая пропасть. И тогда террорист-самоубийца бросился на шофера. Автобус потерял управление, перевернулся и упал с обрыва. Это было началом первой интифады. В ход шли камни, бутылки с горючей смесью, ножи и самострелы. Во время второй интифады они разбогатели, обзавелись огнестрельным оружием и натаскали новых террористов-смертников. При третьей интифаде палестинская автономия жировала вовсю: купила минометы, ракеты "Касем", а самоубийцы встали в очередь, чтобы разлететься вдаль безги на нашей территории. Ни мирные переговоры, ни военное возмездие не обуздали проклятых сук. Ведь ни одну войну против террора нам не дали закончить наши добрые самаритяне. Христианский

мир всегда ждал случая, чтобы принести нас в жертву. Евреи для них — коллективный Иисус, бредущий на Голгофу ради чужого спасения. И тогда один умненький еврейчик, бывший отличник по математике, подсчитал, что если число смертников будет возрастать, как сейчас, в геометрической прогрессии, то к 2050 году все население автономии покончит с собой. Тогда — ура! — наступит вожделенный мир. Надо только набраться терпения и подождать. Набраться терпения, но как? И вот на арену вышел Его Величество релаксан ульTIMA плюс — лучший в мире безопасный транквилизатор. Передозировка вызывает рвоту-блевету, поэтому от релаксана невозможно умереть. Ну, о побочном эффекте ты знаешь. Прекрасение век, потеря памяти, утрата страха смерти.

— Сашенька, насчет потери памяти ты что-то сочиняешь. Я вот, например, все помню.

— Нет, дорогая, не сочиняю. Я лично знаком с Гительманом из института Вейцмана. С тем самым, разработчиком релаксана. Да вот, если не веришь, я сейчас устрой тебе небольшой экзамен. Как меня зовут?

— Александр Гитерман, — ответила я после паузы.

— Бекерман. Александр Бекерман. А Гитерман — это твой директор Джереми. Еще вопрос: как называется город, где прошло наше детство?

— Смоква, — не задумываясь, выпаливаю я, и Сашка хохочет. Он бьет себя ладонями по коленям, трясет головой. Кипа сползает с лысины и падает в тарелку с шуармой. Он вынимает ее, неторопливо счищает налипшее мясо и снова водружает на голову.

— Ну, а теперь вопрос на засыпку, — торжественно объявляет он, — сколько тебе лет?

Чего не помню, того не помню. Разве можно спрашивать такое у женщины? Думаю, подсчитываю, затем достаю из сумочки зеркальце. Морщинистое лицо с покрасневшими веками смотрит на меня.

— Самое интересное, что эти замечательные свойства — повреждение памяти и утрата страха смерти — передаются по наследству. В прежних поколениях еврейские дети зазубривали Тору и Мишну наизусть. А теперь им слабо!

— Итак, нам было велено терпеть, — продолжает он, — но как долго можно выносить такое? — Сашка махнул рукой в сторону полуразрушенного кампуса. — Я добровольно отказался от релаксана еще десять лет назад, и мое терпение давно иссякло. Единственный способ покончить с ними — бороться с автономией ее же оружием. Нам нужны смертники, много смертников. Проблема заключается в том, что ни одна еврейская мать, даже задолбанная релаксаном, не разрешит своему ребенку покончить с собой.

Он продолжает говорить, а я улетаю. Я часто так улетаю в последнее время. Вижу осколки стекла, развороченные глыбы бетона, горящую проводку и бульдозер, заглатывающий место, где стоял мой дом. Чуть поодаль — полицейская

машина, а в ней — две девушки в синей форме. "Девочки, вы не видели здесь ребенка?" Они не обращают на меня никакого внимания. Наконец одна поворачивается, смотрит непонимающими глазами кроличьих тонов. "Какой ребенок?" — "Здесь был мальчик, играл возле дома. Маленький такой, в джинсовой курточке". "Вера! — кричит солдатка проходящей мимо офицерше, — ты мальчика не видела?" — "Какого мальчика?" Объясняю и ей, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. "Кажется, его увел мужчина в красной рубашке", — тянет красноглазая крольчиха. "Какой мужчина? Куда увел?" — "Кажется, мальчик остался жив. Вроде бы, мы "скороу" ему вызывали. И тот мужчина взялся его сопровождать в больницу" — "В какую больницу?"

Ломая застежку сумки, я достаю вторую таблетку. Сладкое тепло заполняет грудь, локти сами собой приподнимаются над поверхностью стола. Кажется, я сейчас взлечу. Мучительное видение уходит. Тяжелые тягучие ириски розовых облаков плывут по небу.

— Мы будем создавать клоны, — говорит Сашка, — у них матка арабской женщины, а у нас — высокие технологии. Мои разработки позволяют за два года построить биофабрику по безматочному выращиванию солдат, лишенных памяти и страха смерти. Клонирование людей запрещено международными законами, но кому какое дело до Израиля? Все давно нас похерили. Наши клоны пойдут на автономию, и тогда ей конец, — ответ далекое пожара зажигает стекла его очков.

В обжорку входит человек в куфие с большой сумкой в руках. Это террорист, сейчас он будет нас взрывать. Надо бы уйти, но так не хочется, так не хочется... Здесь темно, тепло, покойно. Тихо и сытно, и восточная музыка убаюкивает, укачивает... "Бежим, — шепчет Сашка, хватая меня за руку и силой выволакивает из забегаховки. Мы несемся через дорогу, точнее, это он бежит, а я тащусь, я плыву за ним, как огромное тяжелое облако. Через пять минут раздается взрыв. На втором этаже, прямо над кафе, — стоматологическая клиника. Передняя стена падает, видно, как доктор Бекерман замирает с пинцетом и ватой в руках. Копья известки падают на белый халат, на густые седые брови. Пациентка вжимается в кресло, у нее полный рот штукатурки и глаза, припорошенные белой пылью.

— Сашка, — лепечу я, когда мы добираемся до проходной, — зачем ты мне рассказывал? Ведь это государственная тайна.

— После третьей таблетки ты ее забудешь, — визгливо хохочет Сашка, — ну, прощай, кажется, вернули свет.

Я снова на рабочем месте. В нашем американском институте все сотрудники — американцы, и даже сам директор — американец. Горит свет, работают компьютеры. Значит, включился аварийный генератор электричества. Ректор, профессор Бекерман, купил его недавно на последние деньги. "У-у-упс", — стонет Джоди. Значит, Бекерман еще не

вернулся, и я могу залезть в сайты наших конкурентов. А там, за моей спиной, гибнут люди. Доктор Бекерман и его пациентка, наверное, упали вместе с креслом. Я достаю еще одну таблетку. Третья тяжело пошла. Кислотиной свело рот, защищало под языком. Надо бы запить, но кампус вторую неделю без воды.

Сайт конкурентов — это я с удовольствием. Только сначала запишу все, что рассказал мне Бекерман. Про его друга Бекермана из института Бекермана. Про детей, не знающих Тору с Мишной. Почему смешной? Про этих смешных детей. Про циклонов, идущих на Лепестину. А лепестинцы падают, падают и падают. Когда облетит последний, ты умрешь. Нет, я не умру, я нарисую его на стекле, на дисплее нарисую и не умру никогда. А вот и сайт этих гаденышей. Они конкурируют с нами уже две тысячи лет, но мы все еще держимся. Мой любимый сайт "Приход Мессии в трехмерном пространстве". Нажимаю на желтый кавардрик слева внизу, и вот я в Иудее. Нет, это не Иудея, настоящая Иудея суше и старше. Но здесь тоже неплохо. И знакомо до тошноты. Москвичи тянут к журчью ветки, полные спелых фигови. Я уже видела эту картину в гиляровской третьяке. Нет, в третьяковской балдарее. Опять не так. Мой друг Релаксандр прав — я действительно все забываю после третьей таблетки. В гуляре! В третьюковской гуляре.

Все уже в сборе. Молоденький Бар-Раббан, совсем еще подросток, моет в речении журчья белые ноги. Раб Бар-Рабас сидит на земле, обратив к небу слезящиеся глаза в набрякших красных веках. Страшна его улыбка, обнажившая гнилое мясо кровотокащих десен. Старый Иоанн Блюститель тоже здесь, в козьем шкуре, с посохом и пистолетом. Какие коричневые веки! О, если бы все так же бдели, как он! Иоанн указывает куда-то в сторону высокой горы, и вдруг я тоже замечаю: он сходит оттуда, приближается к нам из-за выросли плащаницы. На нем красный хитон, синяя клешевина и кожаные дансалии. Полы клешевины плещутся на ветру. "Моиссея, Моиссея пришел!" — кричу я. Барабан и Барабас вторят мне: "Моиссея пришел!". Он подходит ближе. Кого он там прячет за спиной? О, да это же мальчик, маленький мальчик в джинсовой курточке! Я распахиваю толпу и пробираюсь к ним.

— Это не он, — говорит человек в красном хутоне, — но мы склонили его. Этот не знает страха смерти и ничего не помнит.

Мальчик смотрит на меня, не моргая. В это время на горе, там, откуда только что сошел Моиссея, показывается рейсовый автобус, полный пассажиров.

— Мальчик готов, — говорит Моиссея. — Если ты отпустишь его, автобус не упадет. Тогда не будет никакой интифады. Первой интифады не будет, второй антипады не будет, и третьяковской автопада не будет тоже. Решайся, Мария.

Я сажусь на корточки, зарываю носом в солнечные травяные детские волосы и прижимаю ребенка к себе.

Всемирный клуб одесситов выпустил в 2004 году фотоальбом "Одесса в новых памятниках, мемориальных досках и зданиях"

Тексты — русский и английский — к альбому написал литератор и краевед Олег Губарь. Фотографии Ивана Череватенко. Альбом продается в книжных магазинах города, в Литературном музее и во Всемирном клубе одесситов.

В Клубе одесситов также можно приобрести электронную версию альбома на CD на 4-х языках — русском, немецком, английском и французском.



Коллективизация

Это слово я слышал все чаще.

С ним было связано появление на улице небольших групп людей, по десять-пятнадцать человек, которых вели по мостовой военные с наганами, вынутыми из кобур.

Мужчины в вытертых бараньих папахах, черных суконных кепках, тулупы и пальто подпоясаны, чтобы сохранить тепло. Женщины закутаны в платки. С торбами, мешками, фанерными баулами.

Вокруг слышалось: "Кулаки!", "Раскулаченных ведут".

Мы, дети, жадно и со страхом вглядывались в их черные от мороза лица.

Военные в длинных шинелях, буденовках с нашитыми красными звездами. Их подкованные сапоги звенели на облитых льдом крутых булыжниках. Вели со стороны Нового базара на Преображенскую улицу, в тюрьму.

Вспоминается и другая сцена: издохшая лошадь с длинной мордой на сизой обледенелой мостовой. Ноги деревянно вытянуты. И большой вздутый живот, похожий на бурую мешковину. Извозчик освобождает упряжь.

И еще одна. На Соборной площади у углового дома лежит вверх лицом человек. Ветер метет колючую снежную крупу, человек уже почти засыпан снегом. Видны только серое лицо и голые ступни.

Никто не останавливается. Я тоже прохожу мимо. Мне нужно как раз в этот дом играть с мальчиком.

Собор

С моего балкона был виден кафедральный собор на Соборной площади. Он напоминал гигантские желтые кубы. Они были увенчаны главной колокольней и большими и малыми куполами.

Когда звонили колокола, с собора взмывали птицы и с криком широко кружили в небе.

Собор имел множество дверей на все стороны булыжной площади с подъездами, крыльцами, ступенями без навесов и просто ровень с землей. Эти двери были кованы железом со множеством заклепок с крупными выпуклыми головками и выкрашены в зеленый цвет. Крыши тоже были зеленые. А двери, видно было, давно уже не открывались. И у них экскременты и потоки мочи.

Но главный вход, высокий, как ущелье, был открыт. Внутри царил сумрак. Этот сумрак был как бы забрызган множеством огней лампад и свечей, его прорезали падающие из окон потоки света.

Но собор был так велик, что дневной свет не мог рассеять сумрака, он как бы стоял в нем. Алтарь в конце собора виден был как в тумане.

У массивных колонн могиленные плиты в ограде. На одной из плит стояло: "Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов". Рядом "Княгиня Лидия". От гулких каменных полов пахло холодом даже летом. Этот запах смешивался с запахом воска и лада. Кучки и одинокие фигуры людей терялись в просторе собора.

Шорох шагов, треск свечей, шелест голосов. Я ходил сюда, притягиваемый любопытством и страхом. Я всегда чувствовал свою как бы непринадлежность к этому месту.

На Пасху вокруг собора шел крестный ход. Прихожане стояли с пасхами, крашенками. Подъезжали извозчики с нарядными седоками. И в открытом экипаже привозили архиерея.

Но совсем не видно было молодых лиц. И мало мужчин. Платки, косынки, шляпки. Солнечно, ярко. И грустно.

Но дни собора уже подходили к концу.

Сначала сбросили главный колокол. Он упал на бок, раскрошив булыжники. И еще долго лежал у собора с отбитым краем, оторванным необычно толстым развал чугуна.

Можно было пощупать всегда холодный колокол и даже вскарабкаться к его вершине с массивной металлической петлей. Для этого надо было сбросить сандалии, чтобы не скользить по крутому боку колокола.

Когда колокол увезли, на площади осталась обширная вмятина. Летом после дождя сюда натекало маленькое озеро, можно было пускать кораблики. А зимой кататься на коньках по гладкому льду.

А собор, закрытый и глухой, все еще стоял. Потом его взорвали. Толпа терпеливо, много часов, ждала этого зрелища. Соборную площадь окружала цепочка синих милиционеров и никого к собору не пускала.

Вдруг задрожала земля, и раздался глухой взрыв. Лица коснулись упругий душный воздух. Он пахнул серой. Я увидел, как собор окутался поднимающейся со всех сторон пылью, и в это облако стали погружаться стены и колокольня, теряя на ходу свои очертания. Открылась неприлично пустая площадь, а за нею заслобонная до сих пор собором часть Преображенской улицы с трамваем.

"Стучите вилками по тарелкам"

Отец мачехи Георгий Георгиевич Калягин — мастер на заводе. Он там много лет, ветеран. Награжден даже грамотой правительства.

Об этом писали в газете. Торжество вручения грамоты передавали по радио. Устроили его дома у юбиляра, так решило начальство. Заводская столовая получила указание накормить людей.

Вот на этом столе, показала Клавдия Осиповна, поставили тарелки, стаканы, бутылки ситро. И миску картофельного салата, каждому пришлась жменька на тарелку.

Было это во время коллективизации. Первое поздравление от исполкома.

Корреспондент шепчет: "Аплодируйте!". А потом: "Ешьте". После второго поздравления есть уже нечего, тарелки пустые. Тогда корреспондент опять шепчет: "Стучите вилками по тарелкам. Как будто вы едите. Смелее! Еще".

И так после каждого поздравления. "А дурни слушали радио и верили!" — негодует Клавдия Осиповна.

Георгий Георгиевич сидит с нами за столом и курит папиросу после обеда. По лицу его не скажешь, слушает ли он Клавдию Осиповну.

Марк ГИРШИН

ШОРОХ ВРЕМЕНИ

Оно у него горбоносое, с усами, темное от заводской копоти.

От мачехи я знаю, что ко времени революции у Калягиных уже было собрано десять тысяч, купить дом, в котором они снимали эту квартиру. Деньги хранили дома. Но золотые десятки, когда их пересчитывали, бывало, падали и закатывались в щели между половицами, за плинтусы, не найти. И Клавдия Осиповна тяжелый мешочек отнесла в банк обменять на бумажные.

Кассир странно на нее посмотрел: "Мадам!..".

Послушно отсчитала сотенные екатеринки, и Клавдия Осиповна, отвернувшись, спрятала их в бюстгальтер. Очень удобно.

Скоро после этого произошел большевистский переворот в Петрограде.

Возможно, что, наблюдая, как спиралька дыма от папиросы подымается к люстре с давно уже не зажигаемыми огарками свечей, старший Калягин вспоминал этот случай.

В городском музее есть его фотография. Во время гражданской войны Калягин с бригадой клепальщиков обшил паровоз и несколько платформ стальными листами. Туда поставили пушки и пулеметы, и получился бронепоезд "Красный воин".

Но когда денкиныцы выбили красных из Одессы, они под стражей привели Калягина на завод и приказали построить для них такой же бронепоезд. Назвали его "За Русь святую".

Об этом мне рассказала под большим секретом мачеха.

Портрет в подъезде

Однажды утром по дороге в школу я увидел в подъезде, где управдом вешал объявления, нарядный глянцевый плакат с фотографией человека с ромбами. На плакате было написано: "Голосуйте за кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных сталинского наркома внутренних дел УССР И.М. Леплевского!".

К моему возвращению из школы этот плакат исчез.

А поднявшись домой, я услышал по нашей радиоточке о разоблачении врага народа Леплевского. Все это в течение нескольких часов.

Но история взлета и падения наркома имела продолжение.

Конституция

7-А класса

Во время урока в класс вошел розовощекий кругленький человек и объявил, что он новый директор школы и зовут его Аба Ильич. Так мы узнали, что старого директора сменили. Аба Ильич велел положить на парты тетрадки. На обложках школьных тетрадей обычно печатались таблица умножения, меры веса и длины и портрет какого-нибудь вождя, чаще всего Постышева. Директор сказал, что портрет Постышева и его имя нужно густо замазать чернилами.

С тех пор директор не раз обходил классы, пока портреты всех вождей в тетрадках не оказались замазанными. Он сам проверял тетради, поднося их близко к глупым голубым глазам, и часто оставался недово-

лен: "А волосы почему оставил? Замах", или: "Все видно через бледные чернила. Достань у кого-нибудь хорошие".

Это вымарывание портретов совпало с торжествами по поводу выборов на основе новой самой демократичной в мире конституции. О ней целыми днями говорили по недавно установленной у нас дома радиоточке, тогда новинке. Как-то я услышал передачу выступления Сталина на торжественном собрании. Меня поразила его запинаясь речь, неправильные ударения и еще больше заключение: "За здоровье Ленина!". Ведь Ленин умер.

Ажиотаж с конституцией заразил и нас, школьников. Кто-то предложил составить конституцию класса. Так появилась тетрадка с надписью: "Конституция 7-А класса". Кажется, дальше этой надписи дело не пошло. Но каким-то образом о тетрадке узнал Аба Ильич. И вот одного за другим учеников стали вызывать к директору в кабинет. Когда пришел мой черед, Аба Ильич спросил, кто предложил иметь конституцию класса и писал заголовки. После этого директор укоризненно поглядывал на меня поверх стола с телефоном: "Разве ты не знаешь, что мы в нашей великой стране недавно приняли сталинскую конституцию?". И разведя в стороны пухлые руки, проникновенно спросил: "Так зачем же нам еще одна?".

Аба Ильич был добродушный провинциал с толстыми губами. Поэтому мы его звали "губошлеп". Он поселился в школе. Больше ему, переведенному из района заменить нашего исчезнувшего директора, жить в Одессе было негде. Мы узнали об этом потому, что вдруг глухие окна школьной кладовки засияли промытыми стеклами, и за ними появились занавески.

Расспросы же о злополучной тетрадке с конституцией тянулись долго и, наверное, стоили нашим родителям немало волнений.

Той же зимой дворник дал мне повестку для отца. Это был вызов в НКВД. Возможно, вызов был связан с той же тетрадочкой. А может быть, с его родителями и братьями, оставшимися после гражданской войны в Латвии, под Двинском, деревня Криславка, местом его рождения. Но отца не арестовали.

Появился американский фильм о войне штатов за независимость от английского короля. Мне не надоедало еще и еще раз смотреть на абордаж, пушечные разрывы и наполненные атлантическим ветром паруса славного фрегата "Конституция", дерзко идущего на сближение с английской эскадрой.

Я успевал на детский сеанс после школы, если в тот день было не больше пяти уроков. Билет стоил 20 копеек. Кино помещалось на Дерибасовской, надо было только пробежать Соборную площадь. Иногда ко мне присоединялся наш новый ученик, черненький мальчик из Узбекистана. Помню его взволнованную скороговорку: "Ахунбаев-Файзула Хаджаев-Икрамов-Цейхер", имена исчезнувших местных вождей. Очень, видно, его отец тоже пострадал, мальчика спешно отправили к бабушке в Одессу.

Дома радио бесконечно передавало песни о Сталине. Чаще других, как "...о Сталине нашем, родном и любимом, счастливые песни слагает народ". Пели и украинскую песню о соколе Сталине: "Одын сокил — Ленин, другой сокил — Сталин", и как этот "другой сокил" куда-то летит "соколыны выручаты".

Песни прерывались, чтобы передать новости о разоблаченных "врагах народа". В один прекрасный день врагами киевская радиостанция им. Коссиора назвала одесских вождей.

Я мог в этом убедиться, когда моя тетка повела меня на анализ в лабораторию на Гаванной улице. Я узнал этот трехэтажный дом. В нем еще недавно жил первый из местных вождей. У двери в парадную тогда стоял милиционер. Металлические ворота открывались, чтобы выпустить на улицу вымытый черный "Линкольн". Я видел это, когда наш класс вели в детскую зубо-врачебную клинику у Матросского спуска под Сабаневым мостом.

Мама в прошлом приносила домой слухи медицинского мира. Например, что гостям в доме вождя у входа в детскую предлагали надеть врачебные маски, чтобы предохранить здоровье детей.

Потом в этом доме открыли музей. Там был макет шахты в царские времена, с изможденным шахтером, волокущим на шлее наполненные углем сани. Показывали и железную клетку, в которой содержали когда-то Котовского, приговоренного к смертной казни. То, что музей разместили в доме

арестованного, конечно, случайность. Но и судьба человека подвержена ей же. Котовскому, например, суждено было избежать царской казни, но погибнуть от пули ревнивого адъютанта.

После одесских вождей подошел черед самой киевской радиостанции. Она потеряла имя Коссиора. Все знали, что это значит. Коссиор тоже оказался "врагом народа".

Кроме радио в доме была также "Правда" отца, которой я уже интересовался. В ту зиму газета была заполнена материалами второго, "Пятаковского" показательного процесса. Совсем недавно прошел первый, "Зиновьева-Каменева".

Для того чтобы объяснить мое отношение к Сталину, надо сказать, что у нас в нише за занавеской стояло стопкой на полу первое собрание сочинений Ленина. Оно вышло до прихода Сталина к власти. В этих томах в переплете из красной ткани с черным выпуклым профилем имелся именной словарь с биографиями. Перечень страниц, где Ленин упоминал Сталина, часто умещался в одной строчке. Зато многим "врагам народа" не хватало и полустраницы. Биографии их были написаны в апологетическом тоне.

Поскольку фундаментом сталинских обвинений был антиленинизм этих людей, неправда становилась очевидной даже школьнику, овладевшему арифметикой.

Там же в нише хранился и тяжелый том в коже с выбитым посвящением: "Ветерану 51-й Перекопской дивизии", моему отцу. Я рассматривал многочисленные фотографии этого юбилейного издания во время частых простуд, когда меня укладывали в постель.

Книга открывалась портретом комдива Василия Блюхера на стуле, сабля между колен. Бритая голова, острые глаза. На груди красный бант с орденом. Под фотографией Троцкого надпись такая: "Предреввоенсовета Республики тов. Троцкий, стоя на броневике, обращается к бойцам 51-й Перекопской дивизии, призывая их проявить такое же героismo в работе, какое они проявили в боях".

Террор между тем пришел к нам во двор. Арестовали отца хорошенькой избалованной девочки Ирочки. Я когда-то приходил к ней играть. Но теперь, повзрослевшую, ее можно было увидеть только с подружками.

Я часто встречал его по утрам, идя в школу. В синем кителе, морской фуражке с крабом, глаз прищурен от дыма папиросы во рту, он выходил на работу в порт. Или в майке сидел вечером на балконе и до глубокой ночи слушал свой радиоприемник, в то время редкость. Наверное, заграничный, советских еще не было. Еще недавно он делал доклад во дворе о "поголовно-обязательном" участии жильцов нашего дома в выборах в Верховный Совет. Он был еще совсем молодой человек, как мой папа. И вот его, как говорили, ночью увез "черный ворон". Я представлял себе этот автомобиль похожим на карету скорой помощи, но густого черного цвета.

Арестовали нашего соседа по лестничной клетке, маленького человека с лицом в красных прожилках, прокуренный голос. Он жил этажом ниже. Ходили слухи, что во время праздника он вынес на балкон портрет Троцкого и кричал вниз проходящим демонстрантам: "Да здравствует вождь мирового пролетариата!".

Как я знал? Отец никогда со мной о таких вещах не говорил. Мама уже не было. Я думаю, из воздуха. Буквально. Одно слово услышано здесь, другое там. Это был воздух террора.

Ночной гость

Однажды ночью меня разбудил чужой мужской голос из папиной комнаты. И я услышал: "Завязали глаза, посадили в машину. Привезли куда-то, подымаемся в лифте, идем, слышно — открывают дверь в комнату. Сняли повязку с глаз. Комната пустая, без мебели. В стене окошко. Как в столовой для выдачи блюд. Говорят, пододите и просуньте голову, вижу такую же пустую комнату. Вдруг туда входит Сталин: "Ну, что скажешь?". А я не могу ни слова. Слезы бегут, горло сдавило. Еле выдавил: "Товарищ Сталин, я не виноват". Опять повязку на глаза, привезли обратно в тюрьму. Написал письмо Сталину на десяти страницах. Через три месяца, как один день, выпустили. Вернули партбилет. В наркомате получил назначение — Петропавловский-на-Камчатке консервный комбинат. Директор. До конца пятилетки должны вырасти вдвое. Сделал сюда крюк повидавать стариков — и на работу. Первого приступить".

Когда я утром встал в школу, ни отца, ни гостя уже не было. На столе едко пахнущая бутылка из-под водки, остатки еды на газете.

Это был Паданицын, его фотографию я тоже видел в юбилейном издании — невысокий подросток с револьвером и саблей, заметны следы оспы. И можно лишь гадать, не из-за этой ли оспы Сталин, и сам покоренный ею, помиловал бывшего комроты.

Коллективизация

Это слово я слышал все чаще.

С ним было связано появление на улице небольших групп людей, по десять-пятнадцать человек, которых вели по мостовой военные с наганами, вынутыми из кобур.

Мужчины в вытертых бараньих папахах, черных суконных кепках, тулупы и пальто подпоясаны, чтобы сохранить тепло. Женщины закутаны в платки. С торбами, мешками, фанерными баулами.

Вокруг слышалось: "Кулаки!", "Раскулаченных ведут".

Мы, дети, жадно и со страхом вглядывались в их черные от мороза лица.

Военные в длинных шинелях, буденовках с нашитыми красными звездами. Их подкованные сапоги звенели на облитых льдом крутых булыжниках. Вели со стороны Нового базара на Преображенскую улицу, в тюрьму.

Вспоминается и другая сцена: издохшая лошадь с длинной мордой на сизой обледенелой мостовой. Ноги деревянно вытянуты. И большой вздутый живот, похожий на бурую мешковину. Извозчик освобождает упряжь.

И еще одна. На Соборной площади у углового дома лежит вверх лицом человек. Ветер метет колючую снежную крупу, человек уже почти засыпан снегом. Видны только серое лицо и голые ступни.

Никто не останавливается. Я тоже прохожу мимо. Мне нужно как раз в этот дом играть с мальчиком.

Собор

С моего балкона был виден кафедральный собор на Соборной площади. Он напоминал гигантские желтые кубы. Они были увенчаны главной колокольней и большими и малыми куполами.

Когда звонили колокола, с собора взмывали птицы и с криком широко кружили в небе.

Собор имел множество дверей на все стороны булыжной площади с подъездами, крыльцами, ступенями без навесов и просто ровень с землей. Эти двери были кованы железом со множеством заклепок с крупными выпуклыми головками и выкрашены в зеленый цвет. Крыши тоже были зеленые. А двери, видно было, давно уже не открывались. И у них экскременты и потоки мочи.

Но главный вход, высокий, как ущелье, был открыт. Внутри царил сумрак. Этот сумрак был как бы забрызган множеством огней лампад и свечей, его прорезали падающие из окон потоки света.

Но собор был так велик, что дневной свет не мог рассеять сумрака, он как бы стоял в нем. Алтарь в конце собора виден был как в тумане.

У массивных колонн могиленные плиты в ограде. На одной из плит стояло: "Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов". Рядом "Княгиня Лидия". От гулких каменных полов пахло холодом даже летом. Этот запах смешивался с запахом воска и лада. Кучки и одинокие фигуры людей терялись в просторе собора.

Шорох шагов, треск свечей, шелест голосов. Я ходил сюда, притягиваемый любопытством и страхом. Я всегда чувствовал свою как бы непринадлежность к этому месту.

На Пасху вокруг собора шел крестный ход. Прихожане стояли с пасхами, крашенками. Подъезжали извозчики с нарядными седоками. И в открытом экипаже привозили архиерея.

Но совсем не видно было молодых лиц. И мало мужчин. Платки, косынки, шляпки. Солнечно, ярко. И грустно.

Но дни собора уже подходили к концу.

Сначала сбросили главный колокол. Он упал на бок, раскрошив булыжники. И еще долго лежал у собора с отбитым краем, оторванным необычно толстым развал чугуна.

Можно было пощупать всегда холодный колокол и даже вскарабкаться к его вершине с массивной металлической петлей. Для этого надо было сбросить сандалии, чтобы не скользить по крутому боку колокола.

Когда колокол увезли, на площади осталась обширная вмятина. Летом после дождя сюда натекало маленькое озеро, можно было пускать кораблики. А зимой кататься на коньках по гладкому льду.

А собор, закрытый и глухой, все еще стоял. Потом его взорвали. Толпа терпеливо, много часов, ждала этого зрелища. Соборную площадь окружала цепочка синих милиционеров и никого к собору не пускала.

Вдруг задрожала земля, и раздался глухой взрыв. Лица коснулись упругий душный воздух. Он пахнул серой. Я увидел, как собор окутался поднимающейся со всех сторон пылью, и в это облако стали погружаться стены и колокольня, теряя на ходу свои очертания. Открылась неприлично пустая площадь, а за нею заслободенная до сих пор собором часть Преображенской улицы с трамваем.

"Стучите вилками по тарелкам"

Отец мачехи Георгий Георгиевич Калягин — мастер на заводе. Он там много лет, ветеран. Награжден даже грамотой правительства.

Об этом писали в газете. Торжество вручения грамоты передавали по радио. Устроили его дома у юбиляра, так решило начальство. Заводская столовая получила указание накормить людей.

Вот на этом столе, показала Клавдия Осиповна, поставили тарелки, стаканы, бутылки ситро. И миску картофельного салата, каждому пришлась жменька на тарелку.

Было это во время коллективизации. Первое поздравление от исполкома.

Корреспондент шепчет: "Аплодируйте!". А потом: "Ешьте". После второго поздравления есть уже нечего, тарелки пустые. Тогда корреспондент опять шепчет: "Стучите вилками по тарелкам. Как будто вы едите. Смелее! Еще".

И так после каждого поздравления. "А дурни слушали радио и верили!" — негодует Клавдия Осиповна.

Георгий Георгиевич сидит с нами за столом и курит папиросу после обеда. По лицу его не скажешь, слушает ли он Клавдию Осиповну.

Марк ГИРШИН

ШОРОХ ВРЕМЕНИ

Оно у него горбоносое, с усами, темное от заводской копоти.

От мачехи я знаю, что ко времени революции у Калягиных уже было собрано десять тысяч, купить дом, в котором они снимали эту квартиру. Деньги хранили дома. Но золотые десятки, когда их пересчитывали, бывало, падали и закатывались в щели между половицами, за плинтусы, не найти. И Клавдия Осиповна тяжелый мешочек отнесла в банк обменять на бумажные.

Кассир странно на нее посмотрел: "Мадам!..".

Послушно отсчитала сотенные екатеринки, и Клавдия Осиповна, отвернувшись, спрятала их в бюстгальтер. Очень удобно.

Скоро после этого произошел большевистский переворот в Петрограде.

Возможно, что, наблюдая, как спиралька дыма от папиросы подымается к люстре с давно уже не зажигаемыми огарками свечей, старший Калягин вспоминал этот случай.

В городском музее есть его фотография. Во время гражданской войны Калягин с бригадой клепальщиков обшил паровоз и несколько платформ стальными листами. Туда поставили пушки и пулеметы, и получился бронепоезд "Красный воин".

Но когда денкиныцы выбили красных из Одессы, они под стражей привели Калягина на завод и приказали построить для них такой же бронепоезд. Назвали его "За Русь святую".

Об этом мне рассказала под большим секретом мачеха.

Портрет в подъезде

Однажды утром по дороге в школу я увидел в подъезде, где управдом вешал объявления, нарядный глянцевый плакат с фотографией человека с ромбами. На плакате было написано: "Голосуйте за кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных сталинского наркома внутренних дел УССР И.М. Леплевского!".

К моему возвращению из школы этот плакат исчез.

А поднявшись домой, я услышал по нашей радиоточке о разоблачении врага народа Леплевского. Все это в течение нескольких часов.

Но история взлета и падения наркома имела продолжение.

Конституция

7-А класса

Во время урока в класс вошел розовощекий кругленький человек и объявил, что он новый директор школы и зовут его Аба Ильич. Так мы узнали, что старого директора сменили. Аба Ильич велел положить на парты тетрадки. На обложках школьных тетрадей обычно печатались таблица умножения, меры веса и длины и портрет какого-нибудь вождя, чаще всего Постышева. Директор сказал, что портрет Постышева и его имя нужно густо замазать чернилами.

С тех пор директор не раз обходил классы, пока портреты всех вождей в тетрадках не оказались замазанными. Он сам проверял тетради, поднося их близко к глупым голубым глазам, и часто оставался недово-

лен: "А волосы почему оставил? Замах", или: "Все видно через бледные чернила. Достань у кого-нибудь хорошие".

Это вымарывание портретов совпало с торжествами по поводу выборов на основе новой самой демократичной в мире конституции. О ней целыми днями говорили по недавно установленной у нас дома радиоточке, тогда новинке. Как-то я услышал передачу выступления Сталина на торжественном собрании. Меня поразила его запинаясь речь, неправильные ударения и еще больше заключение: "За здоровье Ленина!". Ведь Ленин умер.

Ажиотаж с конституцией заразил и нас, школьников. Кто-то предложил составить конституцию класса. Так появилась тетрадка с надписью: "Конституция 7-А класса". Кажется, дальше этой надписи дело не пошло. Но каким-то образом о тетрадке узнал Аба Ильич. И вот одного за другим учеников стали вызывать к директору в кабинет. Когда пришел мой черед, Аба Ильич спросил, кто предложил иметь конституцию класса и писал заголовки. После этого директор укоризненно поглядывал на меня поверх стола с телефоном: "Разве ты не знаешь, что мы в нашей великой стране недавно приняли сталинскую конституцию?". И разведя в стороны пухлые руки, проникновенно спросил: "Так зачем же нам еще одна?".

Аба Ильич был добродушный провинциал с толстыми губами. Поэтому мы его звали "губошлеп". Он поселился в школе. Больше ему, переведенному из района заменить нашего исчезнувшего директора, жить в Одессе было негде. Мы узнали об этом потому, что вдруг глухие окна школьной кладовки засияли промытыми стеклами, и за ними появились занавески.

Расспросы же о злополучной тетрадке с конституцией тянулись долго и, наверное, стоили нашим родителям немало волнений.

Той же зимой дворник дал мне повестку для отца. Это был вызов в НКВД. Возможно, вызов был связан с той же тетрадкой. А может быть, с его родителями и братьями, оставшимися после гражданской войны в Латвии, под Двинском, деревня Криславка, местом его рождения. Но отца не арестовали.

Появился американский фильм о войне штатов за независимость от английского короля. Мне не надоедало еще и еще раз смотреть на абордаж, пушечные разрывы и наполненные атлантическим ветром паруса славного фрегата "Конституция", дерзко идущего на сближение с английской эскадрой.

Я успевал на детский сеанс после школы, если в тот день было не больше пяти уроков. Билет стоил 20 копеек. Кино помещалось на Дерибасовской, надо было только пробежать Соборную площадь. Иногда ко мне присоединялся наш новый ученик, черненький мальчик из Узбекистана. Помню его взволнованную скороговорку: "Ахунбаев-Файзула Хаджаев-Икрамов-Цейхер", имена исчезнувших местных вождей. Очень, видно, его отец тоже пострадал, мальчика спешно отправили к бабушке в Одессу.

Дома радио бесконечно передавало песни о Сталине. Чаще других, как "...о Сталине нашем, родном и любимом, счастливые песни слагает народ". Пели и украинскую песню о соколе Сталине: "Одын сокил — Ленин, другой сокил — Сталин", и как этот "другой сокил" куда-то летит "соколыны выручаты".

Песни прерывались, чтобы передать новости о разоблаченных "врагах народа". В один прекрасный день врагами киевская радиостанция им. Коссиора назвала одесских вождей.

Я мог в этом убедиться, когда моя тетка повела меня на анализ в лабораторию на Гаванной улице. Я узнал этот трехэтажный дом. В нем еще недавно жил первый из местных вождей. У двери в парадную тогда стоял милиционер. Металлические ворота открывались, чтобы выпустить на улицу вымытый черный "Линкольн". Я видел это, когда наш класс вели в детскую зубоветеринарную клинику у Матросского спуска под Сабанеевым мостом.

Мама в прошлом приносила домой слухи медицинского мира. Например, что гостям в доме вождя у входа в детскую предлагали надеть врачебные маски, чтобы предохранить здоровье детей.

Потом в этом доме открыли музей. Там был макет шахты в царские времена, с изможденным шахтером, волокущим на шлее наполненные углем сани. Показывали и железную клетку, в которой содержали когда-то Котовского, приговоренного к смертной казни. То, что музей разместили в доме

арестованного, конечно, случайность. Но и судьба человека подвержена ей же. Котовскому, например, суждено было избежать царской казни, но погибнуть от пули ревнивого адъютанта.

После одесских вождей подошел черед самой киевской радиостанции. Она потеряла имя Коссиора. Все знали, что это значит. Коссиор тоже оказался "врагом народа".

Кроме радио в доме была также "Правда" отца, которой я уже интересовался. В ту зиму газета была заполнена материалами второго, "Пятаковского" показательного процесса. Совсем недавно прошел первый, "Зиновьева-Каменева".

Для того чтобы объяснить мое отношение к Сталину, надо сказать, что у нас в нише за занавеской стояло стопкой на полу первое собрание сочинений Ленина. Оно вышло до прихода Сталина к власти. В этих томах в переплете из красной ткани с черным выпуклым профилем имелся именной словарь с биографиями. Перечень страниц, где Ленин упоминал Сталина, часто умещался в одной строчке. Зато многим "врагам народа" не хватало и полустраницы. Биографии их были написаны в апологетическом тоне.

Поскольку фундаментом сталинских обвинений был антиленинизм этих людей, неправда становилась очевидной даже школьнику, овладевшему арифметикой.

Там же в нише хранился и тяжелый том в коже с выбитым посвящением: "Ветерану 51-й Перекопской дивизии", моему отцу. Я рассматривал многочисленные фотографии этого юбилейного издания во время частых простуд, когда меня укладывали в постель.

Книга открывалась портретом комдива Василия Блюхера на стуле, сабля между колен. Бритая голова, острые глаза. На груди красный бант с орденом. Под фотографией Троцкого надпись такая: "Предреввоенсовета Республики тов. Троцкий, стоя на броневике, обращается к бойцам 51-й Перекопской дивизии, призывая их проявить такое же героismo в работе, какое они проявили в боях".

Террор между тем пришел к нам во двор. Арестовали отца хорошенькой избалованной девочки Ирошки. Я когда-то приходил к ней играть. Но теперь, повзрослевшую, ее можно было увидеть только с подружками.

Я часто встречал его по утрам, идя в школу. В синем кителе, морской фуражке с крабом, глаз прищурен от дыма папиросы во рту, он выходил на работу в порт. Или в майке сидел вечером на балконе и до глубокой ночи слушал свой радиоприемник, в то время редкость. Наверное, заграничный, советских еще не было. Еще недавно он делал доклад во дворе о "поголовно-обязательном" участии жильцов нашего дома в выборах в Верховный Совет. Он был еще совсем молодой человек, как мой папа. И вот его, как говорили, ночью увез "черный ворон". Я представлял себе этот автомобиль похожим на карету скорой помощи, но густого черного цвета.

Арестовали нашего соседа по лестничной клетке, маленького человека с лицом в красных прожилках, прокуренный голос. Он жил этажом ниже. Ходили слухи, что во время праздника он вынес на балкон портрет Троцкого и кричал вниз проходящим демонстрантам: "Да здравствует вождь мирового пролетариата!".

Как я знал? Отец никогда со мной о таких вещах не говорил. Мама уже не было. Я думаю, из воздуха. Буквально. Одно слово услышано здесь, другое там. Это был воздух террора.

Ночной гость

Однажды ночью меня разбудил чужой мужской голос из папиной комнаты. И я услышал: "Завязали глаза, посадили в машину. Привезли куда-то, подымаемся в лифте, идем, слышно — открывают дверь в комнату. Сняли повязку с глаз. Комната пустая, без мебели. В стене окошко. Как в столовой для выдачи блюд. Говорят, подойдите и просуньте голову, вижу такую же пустую комнату. Вдруг туда входит Сталин: "Ну, что скажешь?". А я не могу ни слова. Слезы бегут, горло сдавило. Еле выдавил: "Товарищ Сталин, я не виноват". Опять повязку на глаза, привезли обратно в тюрьму. Написал письмо Сталину на десяти страницах. Через три месяца, как один день, выпустили. Вернули партбилет. В наркомате получил назначение — Петропавловский-на-Камчатке консервный комбинат. Директор. До конца пятилетки должны вырасти вдвое. Сделал сюда крюк повидавать стариков — и на работу. Первого приступить".

Когда я утром встал в школу, ни отца, ни гостя уже не было. На столе едко пахнущая бутылка из-под водки, остатки еды на газете.

Это был Паданицын, его фотографию я тоже видел в юбилейном издании — невысокий подросток с револьвером и саблей, заметны следы оспы. И можно лишь гадать, не из-за этой ли оспы Сталин, и сам покоренный ею, помиловал бывшего комроты.

Август в Одессе

До 20 лет...

Обожаю август в Одессе... Мягкое тепло дня и нерезкая прохлада ночи, пение цикад и легкий шум люминесцирующих волн. В это время особенно хороши персики. Когда они уже не твердые, подобно огурцу, но и не липко-переспелые, а именно такие, какими должны быть, с косточкой, которая сама отпадает от мякоти, если разломить персик пополам. А как хороши в это время арбузы!

Привоз — апофеоз изобилия и плодородия. Все, чем балует земля летом, встречается в начале августа, когда наступает перелом к осени. Именно бархат августовского солнца делает траву и зелень такой маняще-зеленой и мягкой, ночные ливни щедро дарят влагу листьям, пострадавшим во время июльского зноя.

Как милы и очаровательны приезжие, стоящие на остановке возле Привоза! С открытым ртом и вытаращенными глазами, они одинаково пялятся на бюсты одесских дам и купола соборов.

Успеваешь во время обеденного перерыва выскочить под ливень и — до озноба — набегаться под дождем, нашлепаться по лужам и побродить по выложенным булыжником мостовым по циклопату в горячий от нагретых камней и асфальта воде. Желание разуться и пройтись босиком по отмытому ливнем асфальту оказывается сильнее желания бежать в пельменную за углом...

После 25....

Ненавижу август в Одессе. То ли осень, то ли лето. От внезапных перемен погоды постоянно мучает мигрень.

Ливни не в состоянии отмыть грязь, которая скопилась на асфальте. Тщательно обхожу. Как можно вытерпеть вонь от прокисших арбузных корок, которая вместе с мерзкой жижей вытекает из мусорных контейнеров, стоящих на каждом шагу?

Ненавижу Привоз, на котором почти не осталось местных продуктов, а перекупщики бойко торгуют турецкими помидорами и марокканскими апельсинами. Не люблю огурцы в августе, когда надо выбрать между перезрелыми гигантами с жесткими семечками и мелкими симпатичными огурчиками, которыми смело можно заменить хинин.

А эти бесконечные орды машин и людей, бывших ранее приезжими или курортниками,

теперь именующие себя туристами? Им совершенно все равно, на что таращиться — на безвкусно и вульгарно одетых девиц или на отреставрированные церкви, возле которых еще никогда не было столько попрошаек. Зачем они приехали сюда, если помидоры у них в городе дешевле, чем у нас на Привозе?

Жирные мухи днем, настырные комары и надоедливые сверчки ночью, вода, которая фосфорится от грязи, сливаемой в море ежедневно... Август, который так любил в детстве, которым наслаждался в юности...

За 30...

Август в Одессе ничем не отличается от любого другого месяца в любом другом городе.

Овощи и фрукты скупаю в ближайшем супермаркете по дороге домой. Не забочусь об их происхождении, главное — вечером побаловать быстро выросшее семейство.

На работе в обеденный перерыв вместе с коллегами уплетаю купленный за углом херсонский арбуз, пребывание в кондиционированном офисе кажется высшим из благ.

Начинаю забывать романтику ночных прогулок к морю — недавно жена узнала, что именно там прогуливал новую сотрудницу, и в ночных вылазках отказано. Равно как и в летнем отпуске.

И совершенно непонятно, чем занять сына, так некстати вернувшегося из лагеря именно сейчас.

Все реже замечаю, во что одеты прохожие, только очень уж откровенный вырез какой-нибудь школьницы еще способен на какое-то мгновение притянуть взгляд. Все чаще кажется, что в городе стало больше молодежи и комаров. Мимоходом отмечаю появившиеся в городском потоке автомобили с инородными номерами.

Нет острее впечатлений, чем выход на пиво в день зарплаты с сотрудником и виноватого возращения домой, когда встречает жена.

И скучно, и душно, и жарко. Все чаще думаю, что ночная бессонница — это не от жары, а от совсем, совсем другого...

Ближе к 40...

В который раз ребенок не явился ночевать домой. Ворочаюсь в постели, перебирая в мыслях варианты наказаний.

В тысячный раз, подскакивая к затянutoму

москитной сеткой окну, все, что вижу, — это неспешный танец комаров снаружи. Ну почему сегодня не идет ливень, так же как и вчера ночью, когда дремал на дачной веранде, слушая шелест волн, который напоминал о чем-то, что было где-то рядом, совсем близко, но ускользало, как только пытался протянуть руку. И не важно, что перед грозой крутило колени и разламывалась спина.

А еще вспоминаю, как на прошлой неделе, ну, той, первой неделе августа, спешно заполняющий медицинскую карту доктор сказал: "У вас песочек в почках, уважаемый, что похвально для вашего возраста. Обычно бывают камни. Кхм-кхм. Сейчас самое время — поешьте для профилактики арбузов и огурцов".

...Всю неделю, как биржевой маклер, наблюдаю падение цен на арбузы, и когда кажется, что 50 копеек за kilo — это уже не 55, с видом знатока перебираю горы полосатых ягод, а потом укоряю себя в жадности и обжорстве.

Сегодня по дороге на работу заезвасялся, разглядывая нескромную майку какой-то приезжей девицы, и едва не влетел в разваливающийся "икарус". Номера не то Харькова, не то Донецка. У них-то моря нет.

Не удержавшись, тайком съел порцию шарурмы. Чувствовал себя героем первые полчаса. Потом разболелся желудок, потом печень. И от приступа спасла только но-шпа, заботливо положенная в портмоне женой, в обмен на зарплату.

Если бы сейчас, да, прямо сейчас, выскочить на пляж, вот так, в одних трусах, нырнуть с головой в ласковые объятия моря... Все эти годы уйдут и забудутся, и снова буду терзать ночные волны, выбивая из них искры...

Далеко за 50...

Второй раз в этом августе от подъезда дома откатывается "скорая", увозящая очередного соседа-ровесника с острым приступом ишемической болезни.

Съев на ужин скибку опостылевших арбузов и закусив на ночь кардафеном и валокордином, направляюсь в спальню. Просидев час на нерасобранной постели, начинаю понимать, что в том, что дети выросли, а вторая половина просто ушла от тебя, виновата совсем не августовская жара.

Еще вчера за обедом, держа в руке за тонкую хрустальную талию рюмку коньяку, с упоением рассказывал молоденькой девушке в дурацком вызывающем платье о том, что достиг вершин жизни. А сегодня — сегодня поскользнулся на банановой кожуре (и

какой идиот ест бананы в августе, когда есть персики).

Наконец-то заметил, что в городе почти не осталось евреев, что на Привозе продают больше суррогатов мыла, чем моркови каротель и помидор микадо, что трава покрыта толстым слоем пыли, которую ночной ливень превращает в жидкую грязь, и кляну ливневую канализацию, построенную еще де Воланом, за то, что она не справляется с потоками дождя.

Разглядываю студентов-иногородников, перебегающих улицу от троллейбуса к обществу. Их длинные лохмы, намокшие и сплишившиеся в сосульки, напоминают о твоих таких же, лет 30 назад. Хочется выскочить под дождь и бежать, сняв обувь, далеко и весело. Но...

Сколько мне осталось?..

Когда же закончится этот несносный и прекрасный август? Санаторские врачи не разрешают вдоволь наесться арбузов, а внуки, когда приходят, спешат поскорее всунуть корзину желтых помидор и лысых персиков и бежать по своим делам. У них все не как у людей. Как только нахмурится небо, они немедленно достают зонтики, натягивают обувь на немислимой платформе и спешат быстрее ударить от дождя, считая его кислотным. Разве могут понять они, дети урбанизации и залетных гостей, не чувствующих настоящего духа августовской Одессы, как до боли здорово, сняв раскисшие туфли и мокрые носки, шлепать по лужам и заливать смехом, когда редко проезжающая машина окатывает тебя теплой водой ливня с головы до ног? Не понимают они и того, что арбуз — это просто вкусно, а не 95 процентов воды и 3 процента глюкозы, что его надо есть не в меру, а сколько влезет, давась косточками и выгрызая красную мякоть до тоненькой зеленой шкурки. Разве слышат они, забив уши ревом рэпа и хип-хопа, как манящим шелестом волн зовет их море? Они предпочитают бассейны, в которых хлорка почти вытеснила воду. На их долю не осталось ничего... Ни трамвая, который обязательно приходил в "семь-сорок", ни керосиновых лавок на Эстонской, что со стороны зоопарка у Привоза, ни крика одесских торговцев молоком и рыбой вразнос с Еврейской, ни летних кинотеатров и открытых эстрад, ни бесплатных библиотек и стоматологов. Что-то болит в груди... Надо отпроситься у главврача на денек и поехать к жене... На второе еврейское... Вспомнить...

Мария ГУСЕВА

После Ойбермана — потоп?

К утверждению про рукописи, которые не горят, уже можно добавить нечто подобное и про другие носители стоящей информации. Каким-то чудом уцелела аудиокассетка советского производства. На ней диктофонная запись 13-летней давности. Шипит, хрипит, но разобрать можно:

— Говорит Ефим Моисеевич Ойберман, одессит с 1917 года. Я раньше никогда не говорил в такую шутовину, и сейчас вы бы меня не упростили, если бы не рассказали анекдот про евреев, которых пора заносить в Красную книгу СССР.

Так вот, начну с вопроса, почему Ефим Ойберман, участник ВОВ, имеющий ранения, контузию и медаль "За взятие Кенигсберга", сейчас сядет в вагон и будет плакать в окно под музыку Соловьева-Седого "Прощай, любимый город"? А если вы меня тоже будете спрашивать: куда же ты, Ефим Моисеевич, в свои семьдесят четыре едешь на собственные похороны, то я вам тоже скажу: а что делать? Брат Изя уже лежит на кладбище в г. Хадере, но он же там, извините, по-человечески лежит: и могилка не затоптана, и плиточка с именем не украдена, не побита. А если бы я остался в нашем родном городе, то уже некому было бы проводить до места окончательной прописки. Хотя какая она окончательная? Вон у меня на Люстдорфской дороге слева, не доезжая до тюрьмы, родители лежали. Так, наверное, так плохо лежали, что там все разбили, разрыли, устроили скверное гуляние и бензином машины заправляют. Кому-то весело над вечным покоем...

Спрашиваете, что положить меня в другую землю? Это как раз не вопрос. Сын Эдуард зовет вообще на

другую сторону Земли. Дочка Галя поближе, но тоже имеет в своем колхозном кибуце такую полную чашу, что мне никогда и не снилось. Да что там говорить, и там, и сям давно живут лучше, чем в нашем старом дворе! Но, с другой стороны, это же не причина закрывать всю Одессу. И надо хорошо подумать про еще оставшийся миллион в основном приличных людей. А то им в своем доме скоро не будет места.

Знаете что, я не какой-то там король Людовик, а скромный еврей Ойберман, и никому не пожелаю, чтоб после меня был потоп. Но вот приходит ко мне соседка Любовь Тимофеевна, смотрит, как я собираю свой чемоданчик, и первая плачет. Вы, говорит, Ефим Моисеевич, только не подумайте, что я плачу от радости расширить свою жилплощадь за счет вашей комнаты в нашей коммуналке. Чтоб оно горело — такое расширение! Всю жизнь прожили рядом — это раз, а другое — теперь в городе становится страшно! А дальше заходят Федя Ищенко со своей Катей Цаланюк и возмущаются: особенно, говорят, невыносимо становится в последние дни в торговых точках и на базаре — нашу Одессу прямо на глазах захватывают чужие.

Даже если я вам по-научному скажу, вы поймете. Каждый приличный город — это как организм человека. И если у этого человека признают печеночную недостаточность, то разве можно при нашей сегодняшней медицине заменять его печенку на чужую, и, как говорят специалисты, инородную? Такая самая ситуация получается в Одессе. Можете говорить про ее евреев, что хотите (а кое-что и кое про кого может оказаться даже не брехней!), но евреи за два пролетевших века от-

дали городу большую часть своей души и пользы. Но тут получается такая мировая история, что евреям обратно выпадает судьба уезжать. Уезжают те, кого в анекдоте про три сорта с советской пятай графой называли "гордостью русского народа" — ученые, артисты, музыканты. И те, кого правильно причисляли к интеллигенции — врачи, инженеры и главные бухгалтеры. Ну, и те, которых, извините за старую песню про воду в кране, называли сами знаете как. То есть торговцы, лавочники, маклеры и прочие мелкие специалисты по слегка дозволенной рыночной экономике. Между прочим, к этой последней категории я имел причислить и себя.

Так вот, теперь мои соседи по коммуналке сами говорят, что и эти последние евреи тоже свои, и их жалко отпускать. Теперь даже вспоминают, что они вместе с другими порядочными одесситами строили наш красивый город. Да вы пройдитесь по Одессе хотя бы до Еврейской больницы. Слава Богу, еще многое уцелело, многое стоит, несмотря на все несчастья!

Но и в несчастные времена приличные люди оставались приличными людьми. Вместе воевали, вместе погибали, вместе стояли в очередях, а если что-то можно было достать без очереди, то тоже делились. Разве к жившему по соседству бакалейному работнику Мойше Когану нельзя было обратиться за бутылком постного масла и пару кило крупы — и разве он кому-то отказал? Потому что нормальный человек понимает: нельзя не помочь соседу, земляку. Так всегда было у нас в Одессе. Вы нашу торговку Фиру знали, которая стояла в овощной лавке на углу Привоза? Так она стеснялась подмешивать людям

гнилые помидоры, а многодетной Тане из нашего двора приносила полную торбу овощей за так.

В прошлом году уехал со своими старик Коган. В прошлом месяце дети почти что силой забрали уже хворую святую торговку Фиру.

И вот тут люди видят, что и в бакалеях, и в овощных лавках, и за базарными стойками возникают какие-то другие личности. Есть же умные слова про то, что свято место не бывает пусто. Посмотрите, как к торговым точкам Одессы со всех сторон лезут совсем чужие. И что вы видите на их лицах? А ничего вы там не видите, кроме сильного желания урвать, нахапать с одесситов. Подумать только, на собственном базаре пару огурцов уже нельзя купить по честной рыночной цене, потому что огородину тетю Машу с Дальника эта мафия не допускает до ворот. А мясной ряд — это ж вообще международный анекдот. Даже свиной торгуют те, кому по вере к ней прикасаться нельзя. Но у этих одна вера — наглость и жадность. А рядом стоит наш базарный "мент" и отворачивает свое официальное лицо. И почему такая поза?

Мои расстроенные соседи правы: эти приезжие мафии ведут себя, как оккупанты в захваченном городе. Нормальный человек сказал бы: нельзя так торговать и вообще вести себя. Только зачем им здесь порядок и совесть? Они же не в своем местечке, не в родном ауле. Там бы им никто не позволил наглеть и грабить!

И не подумайте, что я, пожилой человек, прошедший Отечественную войну и такой же голод, так думаю обо всех новых торгующих. Факт, что на одесский рынок рвется за наживой не добрый мусульманин

и не честный язычник. Нет, это люди, про которых и на собственной родине говорят другими словами.

Как говорится, кто виноват и что делать? Я, старый Ойберман, лично имею что сказать только по второму вопросу. Так вот, торговля — это как кровеносная система города, всей державы. Отдадите в чужие руки торговлю — и из вас пустят кровь. Так что, дорогие мои, учитесь торговать сами! Вы же посмотрите, как это делается во всем мире: своя культурная торговля — культурная страна!

И это всем моим приличным землякам-одесситам надо понять срочно, потому что надежды на некоторых наших державных "муниципиев" и "муниципочек", как на того базарного "мента".

Что мне еще осталось сказать перед отходом своего последнего одесского поезда? За минуту скажу только анекдот. Уезжает из Одессы последний еврей, а его провожает со слезами на глазах последний антисемит. И аж заходится плачем:

— Ой, Мойша, заберите меня с собой!..

— А что, без меня, уважаемый, вам здесь будет скучно?

— Или! А еще страшно!..

— Да что такое?

— А то, что в вашей лавочке уже хозяйничает какой-то башибузуз, который мало что обвешивает, так еще и нашего юмора не понимает. Так он уже пообещал меня зарезать!..

— Ой, как нехорошо! — огорчается Мойша. — Тогда посидите тихо, я вам сделаю вызов...

Зовет гудок. Поезд трогается. Конец записи.

Григорий ЯБЛОНСКИЙ

Похвальное слово в адрес МОГИКАН

Коллективу кабинета искусств Горьковской библиотеки

Я помню высокий смысл трактата Эразма Роттердамского и боль Фенимора Купера, писавшего о могиканах девственных лесов. Сегодня, иронически переосмыслив надежды и чувства великих предшественников, я адресую к искусствоведам кабинета на втором этаже библиотеки имени М. Горького.

Дорогие Ольга Михайловна (Барковская), Татьяна Васильевна (Щурова), Тамара Николаевна (Кухарук), Наталья Юрьевна (Резанова), Эмилия Рудольфовна (Бойко), низко кланяясь вам и благословляя каждый ваш шаг, я скажу вам следующее:

— в пошатнувшемся мире трудно сохранить чистоту сердца и профессиональное достоинство, но вы сделали это;

— периоды распада систем не способствуют горению и романтическому порыву созидать вечность, но вы остались верными названным идеалам;

— во времена хаоса никогда не жаловали интеллигенцию с ее верностью культурным традициям, но вы не стали париями;

— абсурдность всеотрицающей поры не сделала вас циниками, и вот за это я благодарю вас;

— не глупость служения прежнему, а преданность делу и чистота порыва сопутствуют вам в хорошем вашем деле.

А теперь — о Горьковской библиотеке, ставшей одним из опорных центров и моего становления.

Я пришла под своды большого читального зала еще студенткой. Уже тогда, в конце 60-х, благословила усилия хозяев города, которые в веке минувшем подарили одесситам библиотеку как святилище разума и культуры. И архитектурным решением, и аксессуарами внутреннего убранства это здание внушало уважение к ценностям образования и науки. Здесь, осознав мудрость прошлого, решила я, рождая идеи будущего. Конечно, я была постоянным читателем научной университетской библиотеки, но эта, Горьковская, стала весомым дополнением в моих поисках вечных истин. Тогда казалось, что для их постижения мне хватит отпущенного земного срока. Очередь к окошку выдачи литературы и в зал каталогов были всегда. Я их умела выстоять, и это по тем временам было нетрудно. Культурные разговоры вдохновляли на высокие бдения, авторитет научного поиска не вызывал сомнения.

Потом явились себя другие времена. Сначала "глухие" застойные годы, когда наука постепенно оседала в сырых углах под знаком "умной ненужности". Дитя своего времени, я должна была это осознать. Постепенно приняла к сведению, но, что очень важно, что уже в этот период ко мне пришло новое озарение: вечные истины бытия помогают выстоять в любом отпущенном Богом сроке. Библиотека давала почву для высоких нравственных экзерсисов и право

на романтический полет. Люди, с которыми разговаривала, служили делу, а не лицам, на элитарность и праведность шедевров не посягал никто. Это согревало душу и дарило уверенностью в том, что интеллигенция когда-нибудь займет достойное место и в социуме моей страны.

Тяжкими были 90-е годы. Будучи уже филологом-доцентом, волею судеб и многолетних напряжений ума я пришла к большой научной теме о неравномерности как принципе мышления в кризисные и переходные исторические эпохи. Огромный накопленный материал улегся в четкую систему, и стало ясно, как поведут себя мои современники, утратившие ориентиры и так и не осознавшие, что слово "кризис" всегда соседствует с понятием "переходность". То, что современники явления воспринима-

миру понятия "золотой...", "серебряный..." и "бронзовый" русские века, вот в этих эрах я и продолжаю пребывать.

Конечно, растерянному люду жить трудно. Коллектив библиотеки менялся, и так как зарплата ее работников ни в коей мере не соответствовала общему прожиточному минимуму, формой общения многих и многих работников стала явная и скрытая обида на читателя. И сколько же раз пришлось мне, читательнице уже с 30-летним стажем, казаться бы, защищенной билетом научного работника, услышать, осознать, принять вульгарное "нет" в самых различных вариантах высказывания и поведения. Конечно, не вдохновлявших ни к работе, ни к полету.

НО! Вот в этом омуте хаотических перемещений были и остаются прекрасные профессионалы, для которых слово "служи-



ют как крах, в большом историческом времени являет себя только началом перемен. Нам не дано жить в двух исторических эпохах кряду, но четкое знание страданных основ бытия (приоритеты добросердечия, высокого разума и чистоты помыслов) дают возможность выстоять и, не суетясь, делать свое дело в расчете на будущее. Элитарные формы искусства, как будто иллюстрируя аристотелев тезис об отражательной функции всех видов изящного мышления, только подтвердили данный вывод. Не бред огульного отрицания, не вульгарные крики, не попытки поймать за хвост летящую комету сиюминутного успеха оказываются фундаментом жизни, а четкое следование высоким идеалам вселенского человеческого бытия. Если говорить об искусстве, то не распад и стелания привлекают читателя и зрителя, а изящество форм и гуманизм содержания. Слава Богу, этим в предыдущие два столетия были богаты русская литература, живопись и музыка, подарившие

ние", давно ставшее ликом нашей интеллигенции, оказалось "лицом на все времена". Рекомендую студентам объемные списки учебной и научной литературы по общим вопросам культурологии и природе изящных искусств, я с ужасом думала, что вот, и обязательно в период сессии, общим и неуправляемым потоком они хлынут в библиотечный зал и... Потом, придя в этот зал, слышала: "Вы знаете, а ваши студенты приходят с очень грамотно составленным списком литературы". "Боже мой, — думала я, — неужели эти милые женщины успевают заметить и это?". Скажу сразу: ни один мой студент не пожаловался на коллектив кабинета искусств. А их, студентов, у меня на потоке около трехсот, а сессий — две в году.

С О.М. Барковской я училась на одном курсе филфака в университете имени И.И. Мечникова. После его окончания, поехав работать в деревню учительницей, я завидовала ей — работнику изящного вер-

тились снова нескоро, но с какой радостью сегодня я констатирую: не только Горьковская библиотека стала радостью бытия и быта нашей Ольги, но и она, моя сокурсница, вписала красивую и цельную страницу в историю этой библиотеки. Скажу, не пряча: я горжусь этим. Универсальность знаний, неизменная доброжелательность, умение вести огромную общественную, издательскую и научно-библиографическую работу — вот профессиональный и, в общем, чисто человеческий лик Ольги Михайловны.

С Т.В. Щуровой я познакомилась уже на месте ее службы. Замечу — ее я побаивалась, уж очень точно она меня поправляла и направляла в нужное библиографическое русло. И вдруг оказалось, что мое имя в ее устах звучит с ласкательным суффиксом "-ечка", что она просит новых членов коллектива помочь мне в моих уже очень серьезных поисках; что она берет на себя труд объяснять: ученый ищет то, что еще не апробировано и не пришло в библиотеку книгой или статьей, нужно найти хотя бы тот информационный ареал, который поможет ему, ученому, сориентироваться в уже сделанном. Спасибо за мудрость, за преданность делу, дорогая Татьяна Васильевна, и, конечно, за ту щедрость души, с которой вы меня утешали и выслушивали.

Тамара Николаевна Кухарук. Мне очень близки ее боль и горение: эта милая женщина всегда была нацелена на поиск себя в культурном и научном пространстве. В чем-то она неутомима, в чем-то красиво непоследовательна, но, взвалив на себя тяжкий диссертационный груз, она несла его упорно и не сгибалась. Каюсь: я удивлялась ей и восхищалась ею. Что касается моих вечных "набегов" на зал искусств, то эмоциональная Тамара Николаевна была всегда предельно терпелива. Из ее уст я услышала и запомнила навсегда: "Я понимаю, таким, как вы, заказ, поступивший сегодня, нужен "на вчера"..."

Наталью Юрьевну Резанову я просто отличаю и люблю многие годы. Порой мне кажется, что она воплощает в жизнь те идеи, которые я сама так и не сумела воплотить. Ее телевизионные передачи подкупают информативным богатством и эстетическим цензом изложения. Я люблю и горжусь ею, порой мне кажется, что это сияние таланта замечают не только я и ее сподвижники. Как жаль, если это явление, рожденное фандами "Горьковки" и полетом самой Натальи Юрьевны, останется всерьез не отмеченным...

Эмилия Рудольфовна Бойко пришла в кабинет сравнительно недавно. И как же быстро дух интеллигентной доброжелательности стал ее манерой поведения и работы. Конечно, невероятно трудно сразу и в полном объеме разобраться в фондах и каталожных тонкостях, но надо быть очень культурным человеком, чтоб застенчиво признаться: "Я не могу дать вам полной информации, но мне кажется, вот это вам поможет сориентироваться". Спасибо вам, Эмилия Рудольфовна.

Не могу не сказать и о Наталье Николаевне Черногой как моей информационной цитадели. Волею судеб она оказалась причастной к нескольким отделам Горьковской библиотеки, но никогда не отказала мне и моим коллегам в зубодробительном поиске того, что уже есть в фондах, "но, к сожалению, не расписано...". Я удивляюсь ее вечной молодости и незащищенности, иногда вижу надрыв в глазах и слышу боль в словах, но профессионализм и желание помочь читателю остаются ее естеством. Я не дистанцирую Наталью Николаевну от коллектива отдела, в котором пишу: так сложилось, коллектив кабинета искусств и она, совещаясь и дополняя друг друга, стали моими помощниками, сподвижниками, да и первыми читателями уже написанных мной книг.

В юбилейные дни библиотеки не хочется вспоминать о горечи обид и стеланиях. Жанр обязывает сказать о другом. Ненаглядная "Горьковка" выстояла и не утратила статуса научной библиотеки. Если так — она остается кузницей воспитания знающих и интеллигентных людей, которые составляют основу любой нации. Пусть не обидят ее лучших работников слова, вынесенные в название статьи: наша общая "глупость" служения кажется таковой только примитивным обывателям; наше "могикачество" означает только чистоту незапятнанной детскости, с которой истинно культурные люди приходят в этот мир. Для чего? Чтоб он стал более гармоничным и по-настоящему о Вечном.

В. СИЛАНТЬЕВА

доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой зарубежной литературы
Одесского национального университета
имени И.И. Мечникова



Михаил ОБУХОВСКИЙ

Появились

В сентябре этого года судьба подарила мне возможность увидеться с Одессой после почти 15-летнего перерыва, поклониться дорогим могилам, коснуться перил лестницы в "парадной" моего бывшего дома, пройти по фиолетовой лавы плиткам старых улиц, ворошить упавшие под ноги листья деревьев Французского бульвара. Обнять друзей. И убедиться в искренности дружеских чувств авторов поэтического романа в письмах "Исчезли..." — дуэта Валентины Голубовской и Феликса Кохрихта.

В приезд этот я с радостью и гордостью, но часто и с болью видел, как много нового в моем городе появилось за годы моего столь долгого отсутствия. Все это описать невозможно. Рискну предложить "Всемирным" начало списка, который, надеюсь, дополнят одесситы зарубежья и особенно одесситы Новой Одессы. Может быть, в их числе посчастливится увидеть и влюбленных в свой город Валентину и Феликса.

Итак, появились...

...неофициальные, я бы сказал, народные, бронзовые памятники в городе и в Саду скульптур Литературного музея (в одесском Летнем саду). Только вот выбитое на их цоколе часто далеко от скромности и искренности надписи на гениальном бюсте: А.С. Пушкину граждане Одессы. На улицах появились баки для мусора, которые под утро тихо, без криков и мата, опорожняли грузчики спецмашин. Защитные сет-

ки на реставрируемых зданиях. Строительный мусор, выносимый в мешках... Браво, Одесса, ты переставешь быть пыльной.

Появились казино, которых в Одессе больше, чем во всех курортных городах Франции вместе взятых. Казино в некурортных городах запрещены законом, а в курортных — строго лимитированы. В Мантоне, где мы обычно проводим отпуск, в 20 километрах от Ниццы, всего одно казино. По числу же банков Одесса опереди-

ла Швейцарию, в которой массивные темные здания вокруг Женевского озера можно пересчитать по пальцам. Появившиеся в городе фармацевтические дворцы заменили старые пустые аптеки с порошками "от головы" и "от желудка" Но вот цена этих лекарств!

Непомерной длины остроносые туфли на невероятной высоте каблук. Давно известно, что чем дальше от Парижа, тем короче юбки. А вот такой концентрации красивых длинных

ног, открытых этими почти отсутствующими юбчонками, в Европе, поверьте, нет (извините, Александр Сергеевич).

Появилась масса магазинов, открытых день и ночь все дни недели — знаменитые 24/24 и 7/7. Во Франции же из-за введенной 35-часовой рабочей недели и профсоюзов, которые следят за строгим соблюдением завоеванного права отдыхать всей семьей в воскресенье, производство стало дороже, отсюда проигрыш конкурентам. Вперед, Одесса, ты имеешь все шансы закрепить на французском рынке! А пока — расточительно излишне изобилие товаров (первая фаза дикого капитализма) — надо же догнать упущенное за годы советской власти! Еще одна примета жизни якобы позападному: прохожие с открытой банкой пива "из холодильника" в руке.

Появились контрабандные товары, не сделанные на Малой Арнаутской. Появились "особые" люди, для которых предлагаются, если верить рекламе, "особые товары". Табличка: "Мы оставляем за собой право выбора клиента" (а это, господи, расценивается как дискриминация).

Появилась украинская символика. При мне еще запре-

щенные блакитно-жовті флаги и трезубцы заменили красные, цвета протилитой крови флаги и перегруженный надписями на языках всех республик герб с претензией на весь земной шар... Круглые французской традиции кепи украинских полицейских; высокие тульи офицерских фуражек.

Стало страшно, когда увидел появившиеся декорации из "Сталкера" вместо гордости одесского станкостроения. Мирового уровня заводы и КБ дорожники, разграблены. Куки мусора и выбитые стекла. Зона. Больно... Выжило то, что продает-покупает, а не создает...

Появились неснятые "дворники" и зеркала заднего обзора у припаркованных машин. Сам табун рычащих машин запоминается дребезжащими развалами (как они прохордят техконтроль?) и последними моделями непонятно для чего приобретенными в городе вседорожниками (уж не для преодоления ли дорожных ям и ухабов?). Все это несется, превывая среднеевропейские 50 км/час в городской черте — впечатление, что город был застигнут врасплох вдруг выскочившим автомобильным десантом. Автосервис все же успел перестроиться, судя по пу-

Владимир МИНЕНКО

Ночной дозор

Портрет в пространстве уплотненного времени

Как известно, население Одессы состоит из жителей Одессы и одесситов. Кому-то повезло появиться на свет непосредственно под большим одесским солнцем — и они не слишком дорожили этим, других, родившихся не при столь ярком освещении, занесла сюда услужливая и благосклонная судьба — они-то как раз, как неопиты, более трепетно относятся к своему счастью.

С тех пор как появилась железная дорога, стараниями будущего графа Витте соединившая южный город с центром бывшей Российской империи, многих приняла Одесса под свое пестрое крыло. Иные и вовсе, казалось, являлись исключительно затем, чтобы на своем примере утвердить евангельскую истину, что и последние станут первыми.

Кто больше сделал для немеркнувшей славы города, судить уже трудно. Один из "уроженцев" написал "Белеет парус одинокий", другой, из "приезжих" (который и прожил-то здесь неполных два года), — "Время больших ожиданий".

Каким образом появился на этих улицах Юрий Овтин — человек, которому суждено было стать бытописателем Одессы последней четверти минувшего века, — мы разбирать не станем, да это теперь и не важно, поскольку со временем сложилось впечатление, что был он здесь всегда, и в его отсутствие образ Одессы выглядел бы обедненной.

На углу Екатерининской и Греческой — известных также как улица Карла Маркса и улица Карла Либкнехта (с этой или подобной ей фразы нередко начинались его ранние рассказы), через дорогу от знаменитого распивочного подвальчика, перекрестно прозванного "У двух Карлов", размещалась, выходя фасадами на обе эти улицы, издательская фирма "Папирус", ранее, во времена плановой экономики, именовавшаяся "Союзбланкиздат". И не было ничего, что представлялось бы более противостественным, чем сочетание скучной казенной продукции, его предлагавшейся, и изысканной жизнерадостности облика ее директора — Юрия Петровича Овтина.

Тягловый хомут отнюдь не романтических обязанностей, который согнул бы другого до положенья овра, смотрелся на нем легко, как радуга над фонтаном. Под ее акварельной дугой круглилась, формируя овал лица, луноподобная улыбка, делавшая его похожим на Чеширского кота, — со щеками, как подушечки для иглол, будто специально приспособленными для колких, щекотливых острот. Продолжая сравнительный ряд, нетрудно было вспомнить и других именитых котов, концертировавших в литературе: гофмановского Кота Мурра — с его "Житейскими воззрениями, вкупе с фрагментами биографии капелмейстера Иоганна Крейсlera, случайно уцелевшими в макулатурных листах" (одно из тех длинных и многосложных названий, к которым Овтин позже испытывал неодолимое влечение), а также — булгаковского Бегемота, отхлебывающего из примуса, — тем более что нередко в те годы видели писателя в компании маленького, нагло, похожего на Корольева человека в лоснящейся плоской кепке.

Стоя на означенном углу, у двухэтажного здания, распахивающегося бабочкой на обе улицы, там, где продавались цветы, Юрий Петрович (или просто — Петрович, — как зачастую его называли) добродушно, с кошачьей грациозностью раскланивался — и сам как букет, на котором развязали ленту, — раздаривая охапками или поштучно свежие истории, новости, сопутствующие дням анекдоты.

В горячем, источавшем смоляную росу асфальте можно было различить четкие углубления, оставленные овтинской стопой, — как вправлены оттиски ладоней голливудских знаменитостей в бетонные звезды бульвара Сан-Сет — с той разницей, что в нашем случае след не наследовал былую популярность, не запечатлевал ее, а только предшествовал ей. Втаптываясь и погружаясь в эти улицы, постепенно утверждаясь в эквиваленте собственного веса, он словно создавал матрицу, в которой будет отлит набор его будущих книг.

Из окна его служебного кабинета открывался классический одесский дворик, напоминающий

увиденный с изнанки корабль, — с опоясывающими периметры этажей палубными галереями и полотнищами разноцветного белья, движущимися на скрипучих блоках по направлению к искривленной мачте высящегося посреди двора пирамидального тополя. Жидкая плетеной тень его, как часовая стрелка, ложилась на иссохший каменный колодец, вырубленный в форме пузатой абордажной мортиры, указывая время, когда должно было появиться дворничихе бабе Франс, — каждое утро с боцманским шиком шаркала она колючей метлой, сметая в квадратный жестяной совок расплющенные папиросные гильзы, употребляя такие слова и выражения, давно исчезнувшие из усредненного интеграций быта, которым позавидовал бы сам создатель Толкового словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль.

Быть может, этот двор, похожий на ковчег или брандвахту, поставленную на мертвые якоря у задней стенки "Союзбланкиздата", и побудил его к путешествиям, составившим первую книгу рассказов. До этого мир представлялся в виде условно раскрытой политической карты мира, напоминавшей попавшую под дорожный каток бочкотару, из которой крылышками, как из шлема Меркурия, торчала по обе стороны дважды нарисованная Аляска, опротивевшая проданная царским правительством американцам.

Писательский путь Юрия Овтина вычерчивался при посредстве двойной штурманской линейки из литого красного дерева на меркаторских мореходных портоланах с метками Ллойдовского регистратора. Прозрачные пересечения параллелей и меридианов, за которыми трепетали тропические закаты, разительно отличались от плохо отпечатанной бланочной сетки бухчета, где "N" означала не "норд", расположенный к северу от "зюйда", и не императорский инициал, украшающий каменный мост через Сену, а банальный № входящих и исходящих делопроизводства.

Но звучали, как в морской раковине, в потревоженной душе

пароходные гудки, розовело порфиговое облако Тадж-Махала, шумели стамбульские базары и сматым конусом топорщилась гора Фудзияма, освещенная красным солнцем.

Пухлый чемодан, сопровождавший путешественника в его странствиях, перекочевал на обложку книги, получившей название "О, белый теплоход..." (вышедшей впоследствии и вторым изданием — с портретом автора, исполненным при посредстве тростникового пера и китайской туши в виде джинна в бумажной рубашке с распашным воротником, возникающего из колеблемой волнами темной бутылки).

Так появился писатель, еще не до конца осознававший разницу между очерком и рассказом, но чья увлеченность реальным повествованием затмевала вымысел.

Вскоре стали выходить и другие книги. Они были посвящены Одессе. Как будто, бросив взгляд изда-лека, увидел Овтин то единственное место на глобусе, которое ему хотелось охватить всей округлостью восторга, заключающейся в начальной букве как его собственной авторской фамилии, так и в наследованном из времен Овидия имени города.

"Об Одессе и одесситах", "Одесские истории" — их страницы наполнены сухим шелестом акаций, под которыми выставлены мраморные столики уличных кафе, где приятно встретить друзей и знакомых, а в просвет обрывающегося проулка вправлен кусок моря цвета бутылочного стекла. Стилистика овтинских рассказов не создает обобщенных образов, она конкретна, действующие лица узнаваемы, — это как слепок с живого, в котором хороший скульптор лишь заострит отдельные черты.

Наконец — "Избранная одесская проза", собравшая под своей зеленой крышей все лучшее из написанного им и как бы подводящая итог начальному периоду творчества, который по цвету обложки, покрывающей завидный том, так и хотелось бы назвать — "зеленым", если б не опасения, что прилагательное может быть истолковано как определение. На этой в зеленое окрашенной крыше вальсально развалился с сигарой во рту кот Мордехайм, любящий корабельного двора, торчала метелкой верхушка пирамидального тополя, был виден тот самый, теперь во многом обязанный ему известностью угол Екатерининской и Греческой, от которого неотделима фигура и самого писателя, возвышавшегося здесь в

окружении своих невымышленных героев, — наподобие памятника, по цоколю которого шествуют чуждые персонажи...

Киплинг, когда его спрашивали о том, как надо писать, предпочитал рассуждать о сортах бумаги и отточности перьев — полагая природу таланта естественной.

Овтин пишет легко и не производит впечатления каторжника, прикованного к литературной галере. Ровными рядами заполняя страницы от края до края, ложатся строки, лишь изредка вскидываясь петушиными гребнями вставок. Склонив загорелое лицо над бледным бумажным листом, будто скользит он по транспаранту где-то там внутри уже намеченных, но другим не видимых очертаний, — или проявляет содержащееся на чувствительной к свету пластине фотоизображение, постепенно насыщая его серебром и чернью в прозрачном объеме таинственного рассола...

Как по-фламандски заманчивы были эти превращения!

Плавящийся янтарь копченых скумбрий, сальные пятна "жлобской" крестьянской колбасы проступали сквозь бумагу, резной зеленый хвостик петрушки свешивался с исписанного листа, влажные наждачные раки с пряными глазками, шевеля клешнями, лезли из-под дести!...

И здесь уже нельзя различить, где кончается описание и где начинается застолье, и самое в пору отложить ему в сторону жалкую паркеровскую, с золотым пером ручку, брать широкий, с изъеденной укусом сталью тесак и начинать нарезать, вышибая слезу, тугую корейскую луковичу, сладкий болгарский перец, светящийся изнутри переплетами стрелчатых венецианских окон, сизо-красные помидоры, раскалывающиеся из-под лезвия раскаленными паровозными колесами, пожирающими пространство...

Отворяя книгу как двери, ерзающие переплетными петлями, можно спуститься по неосвещенным ступеням вместе с ним в погребок, где пахнет мокрой доской и мускатным орехом, где арочные перекрытия сводов напоминают об утробе кита, поглотившего Иону ("И был Иона во чреве кита три дня и три ночи"), где звучит купринским репризом скрипка, похожая на кожаное истертое седло, и летяся из бочковых затворов, пенится еще играющее молодое вино, пуская со дна стаканов аквариумные струйки углекислого газа...

Как "художника слова" первыми его оценили живописцы.

гающему количеству заправочных станций.

Появилась собственная фасона плитка на тротуаре перед каждым офисом или магазином. Соседство выбоин (открывающих многослойность асфальта, по которому можно изучать культурные пласты поселения) и прекрасной работы навесов над входом в рестораны или гостиницы (правда, перегораживает тротуар, и так превращенный в дикие автостоянки).

Появилось обилие газет, действительно отличающихся по направлению и освещению одесской (и не только) действительности. 2 (две!) еврейских одесских газеты (да что там газеты, — две еврейских общины). Новые синагоги. Национальные школы на всех коренных одесских языках. Культурные центры.

Появились дорогие бутики (скажем проще — лавки) с одеждой якобы от Юго Босса. Но уже выбор продовольствия (которое делилось раньше на "наше" и "не наше") идет в пользу "наших". Вместо гастронома № появились названия "Обжора", "Сельпо", "7/40"... Уличные продавщицы (их и торговки не так превращают в рабочие-крестьянских семечек предлагают и аристократический миндаль.

Не придираясь к метафоре и принимая сказанное дословно, они избрали его почетным членом своего творческого союза.

В овтинских рассказах им импонирует раскованная манера письма, не стесненная условностями направления или "школы", как и шершавая шероховатость штриха, за которым проглядывала прочная, сплетенная из натуральных нитей основа. Изысканные колориты с руками кровельщиков, привыкшие писать пленэры, споласкивая кисти в портвейне, сдвинув на могучие лбы академические береты и закинув за спину потертые лакированные ящики на десантных ремнях, они и сами свободно входили в ткань его повествования, подсаживаясь к столу.

Листья платанов хлопотливо лопотали за порогом, вороненая виноградная гроздь влетала в кованую оконную решетку, серая соль высветливалась в полумраке...

Здесь были молчаливые мастера городского пейзажа, любившие этот город любовью пристальной и чувственной, умевшие при случае отдать дань натюрморту, захаживал говорливый авангардист в красной турецкой феске — похожий на зуава, с медалью собственного имени, отлитой из украденной серебряной ложки, покачиваясь, подчаливали маринисты с картофельными лицами, испеченными белым солнцем Каролино-Бугаза, являлись тихие после бенефисов творцы площадных монументов, знающие лучше других, что жизнь коротка, а память податлива, как зеленая скульптурная глина.

Иных уж нет. Ушел, отметившись напоследок в "Альбоме", славный мастер Коля Степанов, лепщик и лирик, крестный папа "Пети и Гаврика", не стало медлительного и мощного Адольфа Лозы, давно уж перебрался к другим берегам "Маленький Дали" — создатель музыкальных шкатулок, любитель эпатажа Люсьен Дульфан. Как хорошо, что навсегда они запечатлелись в овтинской прозе...

Возможно, именно общение с художниками и подсказало ему идею "Альбома" — нечто вроде блокнота для зарисовок, — где то, что не успевало запечатлеться с натуры в полном объеме, могло дополниться беглыми пояснительными записями, в надежде хотя бы таким способом удержать ускользающее мгновение, — листы, напоминающие больше переписку с рисунками на полях, или дневники, испещренные замыслами, осуществ-

У одесских фонтанов появился французский собрат. Фонтан духов, задуманный Кристианом, уникален. Бронзовый Двенадцатый стул рядом подсказывает нужную тональность в оценке чудодейства. Используя возможность рассказать о своем детище по-французски, Кр с увлечением уверял нас в истинности фонтанирующей жидкости, подтверждал визитной карточкой и разными дипломами. Как раньше зачерпывали воду из фонтанов ведром, так мы из французского фонтана зачерпнули Духи в приготовленную для этого аптечную посуду, чтобы убедить своих друзей, что в Одессе французские духи продаются на разлив (!) по цене духов николаевской фабрики "Алые паруса" (!!). Невероятно. Браво, Кр!

Показалось, что население делится поровну на появившихся охранников и на тех, которых они охраняют. Черные костюмы свежееподстриженных молодых людей соседствуют с камуфляжной формой ветеранов. Мы шарахнулись в сторону от укороченного автомата в руке у парня в пуленепробиваемом жилете в ювелирном на Дерибасовской... Но вот банк. Охранник читает газету. Кто же защитит от гангстеров?

Появилось не ограниченное

визит из которых суждено лишь немногим.

Было ли это и вправду некое подобие "Чукоккалы", где каждый мог оставить свой автограф, или припомнилось ему неоднозначное "Бывало, писывала кровью она в альбомы..." из второй главы "Евгения Онегина", — собрание пестрых глав, Gelegenheitsgedichten (стихи на случай), девичье рукоделие, маргинальные литературные игры и по сей день не могут найти наши вполне доброжелательные рецензенты. А ведь как просто! (если воспользоваться восклицанием Л.Н. Толстого, резюмировавшего таким обезоруживающим образом идею "Войны и мира") — нужно, всего-то, чтоб объединились под одной обложкой люди хорошие, как уже, вероятно, успели устроиться под другими переплетами люди дурные...

Оставалось только собрать по соседям стулья (включая стоявшую во дворе садовую скамейку и "губаретку" бабы Франи) или создать новую партию полукресел с обивкой из английского ситчика, чтоб разместить приглашенных.

На этих страницах прохаживались министры, украшенные позументом и аксельбантами, вышедшие в отставку с правом ношения мундира, здесь были кирпично-красные приятели из парилки на Провиантской, исхлестанные можжевельными (дубовыми, березовыми, эвкалиптовыми, с полынью и хреном) венками у котла, переделанного из рогатой противолодочной мины, похожей на колючий каштан, профессора медицины с оксфордскими сертификатами, грузные газетные магнаты с розовыми лицами вегетарианцев, всеядные представители деловой элиты, рядом — футбольные болельщики с 33-й трибуны (во главе с маленьким, наглым, похожим на Коровьева человеком с граненым стаканом в руке), знаменитые в прошлом спортсмены, боксеры с расплещенными, как на медали, лицами — теперь меценаты, застенчивый шахматный экс-король, похожий на мальчишку, незабвенный бард с гитарой, чей голос мог разрушить стены Иерихона, писатели, деятели культуры, кинематографисты, нобелевский лауреат, "не по торговому странствуя делам", однажды посетивший Одессу, корреспонденты влиятельных столичных изданий, настоящая женщина женского монастыря с букетом нарисованных роз, всеми уважаемый губернатор в ленте.

— Eh bien, mon prince. Genes et Lucques ne sont plus que des

совдеповскими убогими нормами (этажность, высота потолков, площадь кухни...) индивидуальное строительство. Трехэтажные виллы с бассейнами для красных рыбок и отдельно для детей. Одесса прочно застряла в фазе первоначального накопления капитала: распродажа исторически неоценимых домов и площадей. Новое здание в Пале-Рояле затмит оперный и разрушит очарование заповедного места; крошечный сквер моего детства на пересечении Канатной и Итальянского бульвара застроен Палладиумом...

Есть ли главный архитектор города, гарант сохранения одесской неповторимости?

Появилась национальная свободно конвертируемая валюта (хотя еще есть у. е.). Ее зарабатывают, а не получают как милостыню при выезде за границу. Твердая валюта других стран перестала быть уликой преступления. По непонятному множеству обменных пунктов кажется, что обмен — любимый спорт одесситов.

В лексиконе появились новые слова: круассан, аперитив, Мягков, Немирофф, бутики, презентация, биотуалеты, высокая музыка, высокая мода, кутюрье, шардонэ, элитный, сэконд хэнд...

Появился выпускаемый в се-

aranages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous previens que si vous ne me dites pas que nous avons la guette, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocites de cet Antichrist... — героиня известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, важному и чиновному князю Василию...

Впрочем, это, кажется, не отсюда...

Многофигурная композиция с изрядной долей комплиментарности и гиперболизма должна была, казалось, воскрешать в памяти торжественные корпоративные портреты с кружевами и алебардами — наподобие рембрандтовского "Ночного дозора", где свет колеблющихся факелов выхватывает лица в соответствии с их цеховым или геральдическим рангом. Но над всем, что выходило из-под легкого овтинского пера, витала пушистая чеширская улыбка, позволяя увидеть и за костюмированным маскарадом естественные человеческие черты, — словно на фотографии, сделанной веселым пляжным фотографом, все не претендующим на "высокое" искусство, который просто снимает группу отдыхающих, гарантируя при этом неременную надпись — "Привет из Одессы!"...

Нет больше фирмы "Папирус" с фигуркой бесстрастного египетского переписчика на витрине, и то место на углу Греческой и Екатерининской против "Двух Карлов", где любил наш писатель постоять по утрам, поболтать, "набраться слов и выражений", — теперь занято громоздкой рекламной установкой, беспринципное содержание которой меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Уверен, он напишет еще не одну книгу, — возможно, не только рассказов, может, захочется, наконец, на то, что называют "крупной формой" (под стать ему самому), и не в один еще "Овтинский Альбом" сойдутся друзья (в том числе и маленький, похожий на Коровьева человек в кепке и со стаканом), толкаясь и перебивая друг друга, чтоб засвидетельствовать литератору неизменную приязнь.

Он по-прежнему — в центре Одессы, душевный и открытый, в маечке с крупными буквами, растяннутым как транспарант на его обширной груди, — идет навстречу, улыбаясь, протягивая вам свою широкую мягкую ладонь, похожую на оладью.

Владимир МИНЕНКО

ле Шабо коньяк "Версаль". Нонсенс. Закон определяет название товара (в основном вино и сыр) по имени только той местности, где он произведен. Отсюда коньяк только из провинции Коньяк, шампанское только из Шампани, а по названиям сыров изучают географию (Рокфор, Контэ, Сан-Нэктэр...). Но это нам не привилось, так будет больше армянского коньяка одесского разлива и одесской колбасы московского мясокомбината.

С Шустовым как-то тревожно. У нас в семье много лет хранился коньяк с рельефными буквами CHOUSTOFF на бутылке и гирляндой золотых медалей вокруг профиля Шустова. Коньяк привез папа перед самой войной из Молдавии, которая "присоединилась" к Союзу. Папа был корреспондентом в вошедших в Кишинев частях Красной Армии и рассказывал про Шустовский коньячный завод. Или я что-то путаю?

А пока в Одессе появилась своя Эйфелева башня, магазин своих Елисейских Полей. Символика французской столицы на упаковке коньяка Жан-Жак (кстати, имя в латинской транскрипции приведено с ошибками). Наверное, купили право использовать в рекламных целях известные торговые марки. А иначе, как?

Лион, Франция

Ирина ЕГОРОВА

Одесса, 2004

Стрелой дороги пронзена,
Лечу, лучиста и вольна.

И полноценно влиться как
В смиренномудрие растенья?

Несытым взглядом,
тихим жестом,
Как поглядишь —
не все смогли
Из-за окошка, мимоездом
Слизать гармонию Земли.

Море соленым нутром
Кожный ласкает покров.
Небо — роскошным шатром.
Дальние мыки коров.

Плаксивые дали.
Леса рукоплещут,
Кивают, мотают башкой.
Колеса кудахчут.
И дети щебечут.
И рельсы над умной рекой.

Морю лень
шевелинуть волною,
Птице лень
шевелинуть крылом —
И висит она над водою.
Солнце прёт и прёт напролом.

Грядки — прописью
в тетрадках огородов:
Учится Земля —
в процессе родов!

Холодных волн
горячие объятья,
И море месит тело,
как пельмень.
Опять — туда...
хочу туда опять я...
Еще волна... ну, эта —
так, боль-мень...

Задумчивость козы —
в морях зеленых трав,
В разгульном разноцветии
цветов.
Бог, очевидно,
не совсем и прав:
Козиный ум к такому не готов.

И солнца масло
в каше облаков,
И пасти волн
упругое жеванье.
Вот взбит коктейль из нас
и пузырьков,
С нерастворимой жадностью
желанья.

Земля под Неба колпаком,
Леса —
под Неба наблюденьем.
Все вместе,
в мыслях ни о ком
Стоят свидетели — растенья.

Вот солнце из-за тучки
Лучей раскрыло зонт.
Кораблик белой тучкой
Втянулся в горизонт.
Я телом раскаленным
Пронзаю глубину
И радуюсь в соленом,
Медлительном плену.

По дороге в Санжейку

Лежу, лицом уткнувшись
в небо,
А спину — озеру отдав,
Себя оставив на потребу
Воде, жующей, как удав.

Воздух жареный.
Поле пшеничное.
Маков капли. Коза. Васильки.
Полдень.
Ласточки стелятся низко.
Ветер даже не просит руки.

Мир — запрокинутая чаша.
В бездонной глубине —
птиц полет,
А по краям бездумно пляшет
Из разнотравья хоровод.

Вновь моросит, ну конечно...
Как избежать, уходя,
Взглядов, желеюще-нежных,
Ласковых пальцев дождя?

Цветов и дуновений брак,
Воды — и солнца озверенья.

гающему количеству заправочных станций.

Появилась собственная фанатка плитки на тротуаре перед каждым офисом или магазином. Соседство выбоин (открывающих многослойность асфальта, по которому можно изучать культурные пласты поселения) и прекрасной работы навесов над входом в рестораны или гостиницы (правда, перегораживает тротуар, и так превращенный в дикие автостоянки).

Появилось обилие газет, действительно отличающихся по направлению и освещению одесской (и не только) действительности. 2 (две!) еврейских одесских газеты (да что там газеты, — две еврейских общины). Новые синагоги. Национальные школы на всех коренных одесских языках. Культурные центры.

Появились дорогие бутики (скажем проще — лавки) с одеждой якобы от Юго Босса. Но уже выбор продовольствия (которое делилось раньше на "наше" и "не наше") идет в пользу "наших". Вместо гастронома № появились названия "Обжора", "Сельпо", "7/40"... Уличные продавщицы (их и торговки не так превращают в рабочие-крестьянские семечки предлагают и аристократический миндаль.

Не придираясь к метафоре и принимая сказанное дословно, они избрали его почетным членом своего творческого союза.

В овтинских рассказах им импонирует раскованная манера письма, не стесненная условностями направления или "школы", как и шершавая шероховатость штриха, за которым проглядывала прочная, сплетенная из натуральных нитей основа. Изысканные колориты с руками кровельщиков, привыкшие писать пленэры, споласкивая кисти в портвейне, сдвинув на могучие лбы академические береты и закинув за спину потертые лакированные ящики на десантных ремнях, они и сами свободно входили в ткань его повествования, подсаживаясь к столу.

Листья платанов хлопотливо лопотали за порогом, вороненая виноградная гроздь влетала в кованую оконную решетку, серая соль высветливалась в полумраке...

Здесь были молчаливые мастера городского пейзажа, любившие этот город любовью пристальной и чувственной, умевшие при случае отдать дань натюрморту, захаживал говорливый авангардист в красной турецкой феске — похожий на зуава, с медалью собственного имени, отлитой из украденной серебряной ложки, покачиваясь, подчаливали маринисты с картофельными лицами, испеченными белым солнцем Каролино-Бугаза, являлись тихие после бенефисов творцы площадных монументов, знающие лучше других, что жизнь коротка, а память податлива, как зеленая скульптурная глина.

Иных уж нет. Ушел, отметившись напоследок в "Альбоме", славный мастер Коля Степанов, лепщик и лирик, крестный папа "Пети и Гаврика", не стало медлительного и мощного Адольфа Лозы, давно уж перебрался к другим берегам "Маленький Дали" — создатель музыкальных шкатулок, любитель эпатажа Люсьен Дульфан. Как хорошо, что навсегда они запечатлелись в овтинской прозе...

Возможно, именно общение с художниками и подсказало ему идею "Альбома" — нечто вроде блокнота для зарисовок, — где то, что не успевало запечатлеться с натуры в полном объеме, могло дополниться беглыми пояснительными записями, в надежде хотя бы таким способом удержать ускользающее мгновение, — листы, напоминающие больше переписку с рисунками на полях, или дневники, испещренные замыслами, осуществ-

У одесских фонтанов появился французский собрат. Фонтан духов, задуманный Кристианом, уникален. Бронзовый Двенадцатый стул рядом подсказывает нужную тональность в оценке чудодейства. Используя возможность рассказать о своем детище по-французски, Кр с увлечением уверял нас в истинности фонтанирующей жидкости, подтверждал визитной карточкой и разными дипломами. Как раньше зачерпывали воду из фонтанов ведром, так мы из французского фонтана зачерпнули Духи в приготовленную для этого аптечную посуду, чтобы убедить своих друзей, что в Одессе французские духи продаются на разлив (!) по цене духов николаевской фабрики "Алые паруса" (!!). Невероятно. Bravo, Кр!

Показалось, что население делится поровну на появившихся охранников и на тех, которых они охраняют. Черные костюмы свежееподстриженных молодых людей соседствуют с камуфляжной формой ветеранов. Мы шарахнулись в сторону от укороченного автомата в руке у парня в пуленепробиваемом жилете в ювелирном на Дерибасовской... Но вот банк. Охранник читает газету. Кто же защитит от гангстеров?

Появилось не ограниченное

время из которых суждено лишь немногим.

Было ли это и вправду некое подобие "Чукоккалы", где каждый мог оставить свой автограф, или припомнилось ему неоднозначное "Бывало, писывала кровью она в альбомы..." из второй главы "Евгения Онегина", — собрание пестрых глав, Gelegenheitsgedichten (стихи на случай), девичье рукоделие, маргинальные литературные игры — жанр, определения которому и по сей день не могут найти наши вполне доброжелательные рецензенты. А ведь как просто! (если воспользоваться восклицанием Л.Н. Толстого, резюмировавшего таким обезоруживающим образом идею "Войны и мира") — нужно, всего-то, чтоб объединились под одной обложкой люди хорошие, как уже, вероятно, успели устроиться под другими переплетами люди дурные...

Оставалось только собрать по соседям стулья (включая стоявшую во дворе садовую скамейку и "губаретку" бабы Франи) или создать новую партию полукресел с обивкой из английского ситчика, чтоб разместить приглашенных.

На этих страницах прохаживались министры, украшенные позументом и аксельбантами, вышедшие в отставку с правом ношения мундира, здесь были кирпично-красные приятели из парилки на Провиантской, исхлестанные можжевельными (дубовыми, березовыми, эвкалиптовыми, с полынью и хреном) венками у котла, переделанного из рогатой противолодочной мины, похожей на колючий каштан, профессора медицины с оксфордскими сертификатами, грузные газетные магнаты с розовыми лицами вегетарианцев, всеядные представители деловой элиты, рядом — футбольные болельщики с 33-й трибуны (во главе с маленьким, наглым, похожим на Коровьева человеком с граненым стаканом в руке), знаменитые в прошлом спортсмены, боксеры с расплюсченными, как на медали, лицами — теперь меценаты, застенчивый шахматный экс-король, похожий на мальчишку, незабвенный бард с гитарой, чей голос мог разрушить стены Иерихона, писатели, деятели культуры, кинематографисты, нобелевский лауреат, "не по торговому странству делам", однажды посетивший Одессу, корреспонденты влиятельных столичных изданий, настоящая женщина женского монастыря с букетом нарисованных роз, всеми уважаемый губернатор в ленте.

— Eh bien, mon prince. Genes et Lucques ne sont plus que des

совдеповскими убогими нормами (этажность, высота потолков, площадь кухни...) индивидуальное строительство. Трехэтажные виллы с бассейнами для красных рыбок и отдельно для детей. Одесса прочно застряла в фазе первоначального накопления капитала: распродажа исторически неоценимых домов и площадей. Новое здание в Пале-Рояле затмит оперный и разрушит очарование заповедного места; крошечный сквер моего детства на пересечении Канатной и Итальянского бульвара застроен Палладиумом...

Есть ли главный архитектор города, гарант сохранения одесской неповторимости?

Появилась национальная свободно конвертируемая валюта (хотя еще есть у. е.). Ее зарабатывают, а не получают как милостыню при выезде за границу. Твердая валюта других стран перестала быть уликой преступления. По непонятному множеству обменных пунктов кажется, что обмен — любимый спорт одесситов.

В лексиконе появились новые слова: круассан, аперитив, Мягков, Немирофф, бутики, презентация, биотуалеты, высокая музыка, высокая мода, кутюрье, шардонэ, элитный, сэконд хэнд...

Появился выпускаемый в се-

aranages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous previens que si vous ne me dites pas que nous avons la guette, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocites de cet Antichrist... — го-ро-ва известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, важному и чиновному князю Василию...

Впрочем, это, кажется, не отсюда...

Многофигурная композиция с изрядной долей комплиментарности и гиперболизма должна была, казалось, воскрешать в памяти торжественные корпоративные портреты с кружевами и алебардами — наподобие рембрандтовского "Ночного дозора", где свет колеблющихся факелов выхватывает лица в соответствии с их цеховым или геральдическим рангом. Но над всем, что выходило из-под легкого овтинского пера, витала пушистая чеширская улыбка, позволяя увидеть и за костюмированным маскарадом естественные человеческие черты, — словно на фотографии, сделанной веселым пляжным фотографом, все не претендующим на "высокое" искусство, который просто снимает группу отдыхающих, гарантируя при этом неременную надпись — "Привет из Одессы!"...

Нет больше фирмы "Папирус" с фигуркой бесстрастного египетского переписчика на витрине, и то место на углу Греческой и Екатерининской против "Двух Карлов", где любил наш писатель постоять по утрам, поболтать, "набраться слов и выражений", — теперь занято громоздкой рекламной установкой, беспринципное содержание которой меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Уверен, он напишет еще не одну книгу, — возможно, не только рассказов, может, захочется, наконец, на то, что называют "крупной формой" (под стать ему самому), и не в один еще "Овтинский Альбом" сойдутся друзья (в том числе и маленький, похожий на Коровьева человек в кепке и со стаканом), толкаясь и перебивая друг друга, чтоб засвидетельствовать литератору неизменную приязнь.

Он по-прежнему — в центре Одессы, душевный и открытый, в маечке с крупными буквами, растяннутым как транспарант на его обширной груди, — идет навстречу, улыбаясь, протягивая вам свою широкую мягкую ладонь, похожую на оладью.

Владимир МИНЕНКО

ле Шабо коньяк "Версаль". Нонсенс. Закон определяет название товара (в основном вино и сыр) по имени только той местности, где он произведен. Отсюда коньяк только из провинции Коньяк, шампанское только из Шампани, а по названиям сыров изучают географию (Рокфор, Контэ, Сан-Нэктэр...). Но это нам не привилось, так будет больше армянского коньяка одесского разлива и одесской колбасы московского мясокомбината.

С Шустовым как-то тревожно. У нас в семье много лет хранился коньяк с рельефными буквами CHOUSTOFF на бутылке и гирляндой золотых медалей вокруг профиля Шустова. Коньяк привез папа перед самой войной из Молдавии, которая "присоединилась" к Союзу. Папа был корреспондентом в вошедших в Кишинев частях Красной Армии и рассказывал про Шустовский коньячный завод. Или я что-то путаю?

А пока в Одессе появилась своя Эйфелева башня, магазин своих Елисейских Полей. Символика французской столицы на упаковке коньяка Жан-Жак (кстати, имя в латинской транскрипции приведено с ошибками). Наверное, купили право использовать в рекламных целях известные торговые марки. А иначе, как?

Лион, Франция

Ирина ЕГОРОВА

Одесса, 2004

Стрелой дороги пронзена,
Лечу, лучиста и вольна.

И полноценно влиться как
В смиренномудрие растенья?

Несытым взглядом,
тихим жестом,
Как поглядишь —
не все смогли
Из-за окошка, мимоездом
Слизать гармонию Земли.

Море соленым нутром
Кожный ласкает покров.
Небо — роскошным шатром.
Дальние мыки коров.

Плаксивые дали.
Леса рукоплещут,
Кивают, мотают башкой.
Колеса кудахчут.
И дети щебечут.
И рельсы над умной рекой.

Морю лень
шевелинуть волною,
Птице лень
шевелинуть крылом —
И висит она над водою.
Солнце прёт и прёт напролом.

Грядки — прописью
в тетрадках огородов:
Учится Земля —
в процессе родов!

Холодных волн
горячие объятья,
И море месит тело,
как пельмень.
Опять — туда...
хочу туда опять я...
Еще волна... ну, эта —
так, боль-мень...

Задумчивость козы —
в морях зеленых трав,
В разгульном разноцветии
цветов.
Бог, очевидно,
не совсем и прав:
Козиный ум к такому не готов.

И солнца масло
в каше облаков,
И пасти волн
упругое жеванье.
Вот взбит коктейль из нас
и пузырьков,
С нерастворимой жадностью
желанья.

Земля под Неба колпаком,
Леса —
под Неба наблюденьем.
Все вместе,
в мыслях ни о ком
Стоят свидетели — растенья.

Вот солнце из-за тучки
Лучей раскрыло зонт.
Кораблик белой тучкой
Втянулся в горизонт.
Я телом раскаленным
Пронзаю глубину
И радуюсь в соленом,
Медлительном плену.

По дороге в Санжейку

Лежу, лицом уткнувшись
в небо,
А спину — озеру отдав,
Себя оставив на потребу
Воде, жующей, как удав.

Воздух жареный.
Поле пшеничное.
Маков капли. Коза. Васильки.
Полдень.
Ласточки стелятся низко.
Ветер даже не просит руки.

Мир — запрокинутая чаша.
В бездонной глубине —
птиц полет,
А по краям бездумно пляшет
Из разнотравья хоровод.

Вновь моросит, ну конечно...
Как избежать, уходя,
Взглядов, желеюще-нежных,
Ласковых пальцев дождя?

Цветов и дуновений брак,
Воды — и солнца озверенья.

Александр В. ДОРОШЕНКО**«Это школа, вам говорят!»**

Школу свою, куда ходил ровно десять лет, я, за немногими вычетами, ненавидел, и это сильно способствовало моему интеллектуальному развитию. Школа почему-то была ведомственной и входила в систему железнодорожных школ. Эта система имела и свою железнодорожную поликлинику, куда нас гоняли на всякие проверки. Всего в Городе таких школ было четыре, а наша была вторым номером. Детей, впрочем, как и во все остальные школы, в эти набирали также по месту жительства. Мой путь в школу лежал от пожарной части на Михайловской, вверх по Дальницкой, через Степовую и далее по левой стороне Прохоровской. Обратный путь иногда я проходил иначе, сворачивая у Степовой и идя через Зеленый садик, путь этот был длиннее, и я шел им в дни невзгод и печалей, оттягивая приход в дом, да и участок пути от Прохоровской вправо, к Комитетской, своей безрадостностью обострял печаль и растревывал раны. Так я ходил ровно десять лет.

У нас все было похожим, как на полотне Ладыженского: кафельная высокая печь на первом этаже, узкая лестница с обшитыми деревом перилами (мы лихо по ним съезжали), такая же одинаково сиротская цветочная гамма одежды. В центре ребята играют в "отмерного", мы точно так же играли, только на школьном дворе. Точно так же и у нас учителя в основном были из женщин.

В школе было несколько настоящих учителей и среди них математик, Владимир Юрьевич Воскобойников. Высокий и очень грузный, но как-то основательностью, а не толщиной была в нем эта грузность, две пары очков были в его карманах, и он поочередно менял их, работая у доски (и еще огромный белый платок всегда выглядывал кончиком из его кармана, он, вытащив его, протирал очки, я таким увидел Паваротти, такого же масштабом, неторопливостью, уверенностью и основательностью. Но Владимира Юрьевича выгодно отличал бас). Кличкой ему, как и всем, хоть что-то собой представлявшим учителей, была "Лысый". Только уж совсем безликие учителя не имели кличек, а клички эти передавались по наследству в поколениях школьников. Удивительно, в этой школе, где мало кого боялись и уж совсем исключительно кого любили, к нему все и всегда, во всех классах и школьных поколениях, относились с уважением. Голос у него был бесподобный, глубокий, многомерный, многослойный, редко так полно голос соответствует человеку. Много лет как его нет на земле, но, закрыв глаза, я вижу его входящим в класс (вначале в открытой двери появлялась его пуговица, передняя на пиджаке, потом он постепенно входил, легко неся грузное свое тело, но впереди него шел и заполнял все имевшееся пространство его голос — он никогда не повышал его, никогда, сколько помню, не опускался до крика, но в голосе этом была страшная магия — и мы, дети Молдаванки, становились серьезны и сосредоточенны!).

Даже не предметом, который читал великолепно, ...но самой своей личностью он нам, мальчишкам и девчонкам, демонстрировал, чем является, каким

должен быть мир достойных людей. Он, Владимир Юрьевич Воскобойников, был для нас воплощением и наглядным примером достоинства человека... и остался таким навсегда. ...И легионы встреченных на жизненном пути шавок этот взгляд на человека уже изменить не смогли. ...Он один был для нас Университет...

И еще помню астронома. Тут в девятом, что ли, классе, факультативно, то есть без грозящих экзаменов, ввели у нас астрономию, и пришел на урок сухошавый и невысокий старик лет даже под восемьдесят, глухой совершенно. И встав у доски, начал говорить о своих путешествиях. В классе даже не шум стоял, просто радостный стон. Я мало и плохо помню, что говорил он, помню его лицо, и вот еще, впервые в жизни я видел стоячий воротничок рубашки и в нем галстук (не галстук, нет!), но, и я это сразу понял, небываемый теперь галстук, старорежимный. Я потом много таких видел на старых фотографиях, у Чехова, например. Он так до революции в университет или академию приходил, молодым и красивым, а то, что красивым, это и теперь, в старости его, было очевидно вполне. Какой радостью он оказался для нашего убойного класса! И кому-то, мешающему мне слушать, я дал подзатыльник. Так на перемене, где мы продолжали веселиться, в коридоре школьном, он именно ко мне подошел и именно мне вдруг сказал об этом подзатыльнике: "Вот от Вас я этого никак не ожидал!". И пошел в учительскую. Он видел меня впервые, это был первый и единственный урок астрономии у нас, дальние старик заболел, я знаю, интересовался, и все его сразу же позабыли. Я помню всю жизнь, он был мне учителем и в этой поганой школе многое для меня сделал. Имени его никогда я не знал, мне завуч рассказал, что был он известным еще до революции путешественником и ученым.

Какой красивый был старик. И завуча тоже помню. Без имени, только отчество — Арнольдович (имя подходит Леопольд, или Леонид, нет, не помню). Он был горбун. И был добрым, хоть по роду службы, по своему в школе положению, чувствовал себя в необходимости быть строгим и часто рычал на нас за многочисленные наши проказы. Сейчас вспомнил — был он историк. Я запомнил некоторые его уроки истории и, может быть, привязанность моя детская к истории в его нескольких уроках получила необходимое подкрепление и сохранилась во мне. Школьная кличка ему, естественно, была "Горбатый". Я проверял воспоминания соучеников разных лет — нет ничего прочнее ребятами данной клички, она кокетит из поколения в поколение школьников. Злости в этой кличке не было, просто ребята схватывали самое характерное в образе и закрепляют в кличке. (Нашу географичку, худую, востроносую и недообрую, вообще не помню как звали, только кличку "Макенза", это от Александра Македонского произошло, и мой отец, постоянно слыша это имя дома, как-то, придя по ее вызову в школу, так и спросил в учительской, Македонскую, что мне, конечно, всесторонне зачлось.) Помню занятия во вто-



Ефим Бенционович Ладыженский. Большая перемена

рой смене (было так, нехватка помещений школьных рождала двухсменку, и в разных классах я попадал в разные смены), вечером, и в коридоре нашем, длинном школьном коридоре (даже помню и этаж, он был второй), погас свет. Шум был страшный, лично я восторженно орал во все горло — "Горбатый", и тут зажгли свет, а он стоит рядом со мной. Сейчас с благодарностью помню, он ничего плохого не предпринял. И до сего дня, вспомнив, испытываю стыд от этого своего крика.

Отвлекусь: слово "вечерело" мне сегодня если и говорит о чем-то, то о времени дня, о предстоящем ужине... Но вот сейчас, написав это слово, там, выше, говоря о школьном коридоре, я вспомнил. Выйдя потом из ворот школы, по пути домой я видел этот вечер и запомнил его: крыши домов, силуэты труб, врезанных в эти крыши или кирпичной пристройкой вырастающие из боковых стен домов, на карнизе осторожную кошку, танец ветвей и листьев и над ними пронзительной нежности вечернюю тень, сгущающуюся постепенно, миллионами полutoнов, и в каждом был отблеск счастья жить, которому во все тысячи следующих вечеров моей, оказавшейся длинной, жизни, подобного я не упомяну.

*"На бледно-голубой эмали,
какая мыслима в апреле,
Деревья ветви поднимали
И незаметно вечерели..."*

Осип Мандельштам. 1909

Но можно и так:

*"На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блестаючи с высот, она
Сквозь окна
дом мой освещала*

*И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала..."*

**Гавриил Державин
Видение мурзы. 1783-1784**

Нет слов и нет способа этим поделиться. У меня — нет. И у вас — нет. Вот у них был! Так может быть только в детстве. Может быть, животные наши, собаки и кошки, может быть, им, лишенным языка, даровано это чувство ощущения жизни много чаще, но главное чище, чем нам, во всю их жизнь? Но тогда смысл нашей убогой и их счастливой жизни несопоставимы. Может быть, это мы сами променяли когда-то, бесчисленно давно, счастье первородства на чечевичную похлебку разума?

Так вот, в последнем классе, летом, видимо, перед экзаменами, мы гоняли в баскетбол (почему-то в обширном нашем школьном дворе было только одно кольцо и все перемены старших классов мы там гоняли мяч). Мы в этот день с утра уже успели побывать в Отраде (это такой, лучший, пожалуй, и самый протяженный городской пляж) и там на песке стянули у киношников одну дымовую шашку. А в конце двора у нас был дворовый туалет, именно мужской. Мы туда положили шашку эту и подожгли ее, а сами занялись мячом. Мелюзгу школьную, впрочем, отслеживали, в туалет не пуская. Помню, его, туалет, только что побелили, что делали в то время ежегодно и, надо полагать, сияющая его белизна и надумила нас именно там расположить шашку. В этот момент с улицы в школьные ворота вошел наш Арнольдович. Был он в белом парусинном костюме (в те бедные времена модными были такие костюмы из парусины) и даже обувь его тоже

сияла белизной парусиновой. А из туалета уже всюду валил густой дым. Туалет был у нас за спиной, мы вроде его не замечали, а завуч перед нами. Вдруг он бегом бросился мимо нас к туалету этому и вбежал в него. Только тут мы сообразили — он решил, что там могут быть дети. Мы все вымахали в рост, он теперь, гроза школы, был совсем маленьким перед нами. Когда он вышел из туалета (там никого не было, мы следили за этим) костюм его, да весь он, от подошвы своих маленьких трогательных туфель и до макушки, был черен, как Отелло, и так же, как Отелло, потрясен. Мы тихо свернули игру и так же тихо ушли в школу, уж не помню, чем там заниматься. Мы не стали обсуждать это дело, ни горевать, ни смеяться, мы исключили его из своей памяти.

Стыдно мне за то, что не подошел извиниться перед ним, и сейчас.

А в коридорах, пронизывающих все школьное здание, стояли печи. Были они чугунные, круглой формы, в нижней части они расширялись, и там была устроена топка, и в самом верху они расширялись вновь, уже декоративно, с зубчато-коронным узором. Помню себя за что-то выгнанным из класса, пустой коридор, голоса учителей, доносящиеся из-за закрытых дверей, кричаще визгливые женские и неторопливо-спокойные мужские, я стою, грея руки о печь, а за окнами медленно опускается крупный елочный снег.

Значит, была зима, вскоре должен был прийти Новый год (это тоже сохранилось в памяти, что сцена эта до, а не после Нового года, но вовсе не датой, я не запоминаю дат вообще, это сохранилось ощущением предстоящего праздника).

Редактор Евгений ГОЛУБОВСКИЙ. Коммерческий директор Леонид РУКМАН.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за точность сообщаемых фактов несут авторы. Взгляды редакции не всегда совпадают с точкой зрения авторов.

Дизайн и компьютерная верстка: ТИА «Вікна-Одеса», тел. 77-33-705.

Регистрационное свидетельство N 508. Тираж 1000. Заказ N _____, газета отпечатана в типографии «СІЧ».

Адрес редакции: 65014, Одесса, ул. Маразлиевская, 7. Тел. 724-01-35. www.odessitclub.org.